



А. Н. ПЫПИН

Ломоносов и его современники

I

Первое прочное установление новой литературы. — Подражание и заимствование. — Международные литературные взаимодействия. — Состояние школы. — Тредьяковский¹ и Сумароков

Ломоносов есть, без сомнения, величайшее имя нашей литературы XVIII века, — величайшее не по силе поэтического дарования, в чем выше его стоит Державин², следовательно, не по чисто художественному значению, которое, заметим, чувствовалось в этом первом периоде нашей новой литературы гораздо слабее, чем обыкновенно полагают; но имя, величайшее по целому литературному влиянию, которое давно побуждало видеть в Ломоносове «отца» новой литературы. В несколько образованном кругу русского общества тех времен ни одно имя не было окружено таким бесспорным почетом, как имя Ломоносова, даже имя самого Державина. Повидимому, его собственно литературное значение должны были заслонить дальнейшие успехи литературы, которые ознаменованы были творениями Державина, Фонвизина, наконец Карамзина³; но авторитет Ломоносова держался неизменно не только в консервативной толпе старого века, но и между людьми более высокого литературного уровня: до самых тридцатых годов поклонником его на университетской кафедре был Мерзляков⁴. И точка зрения, с которой возвеличивал Ломоносова этот последний могикан восемнадцатого века, была, однако, не совсем та, с которой ценит его историческая критика. Мерзляков восхищался еще поэзией Ломоносова; но Пушкин, а затем Белинский судят уже иначе: заслуга Ломоносова полагается гораздо больше в его ученых трудах, в создании литературного языка — или по крайней мере в первом шаге к этому созданию, который состоял в определении элементов книжной русской речи и указании их относительного значения. По известным словам Пушкина, Ломоносов был первым нашим университетом, и этими словами верно обозначен основной смысл деятельности Ломоносова, заключавшейся именно в том, что он пролагал пути в самых

различных отраслях науки и литературы, становился руководящим авторитетом в такой широкой области знания и поэзии, какой с тех пор не обнимал ни один из наших писателей, и своим стремлениям на поприще знания и литературы придавал ту властную силу, которую сообщает сильный первостепенный ум и глубокое убеждение.

Как долго не мог установиться взгляд на историческое значение Ломоносова в нашей литературе, так долго не было выяснено с точностью значение его трудов по естествознанию: в то время как повторялись старые восхваления его великих научных открытий, лишь отчасти подкрепленные новейшими оценками наших специалистов — физиков, химиков, геологов, в общих книгах по истории науки имя Ломоносова встречалось только редко. В последнее время собрано много новых данных для истории его жизни и деятельности, но еще требует исследования самая биография и в ней определение того пути развития, каким образовался этот могущественный характер. Таким образом будущему изыскателю еще предстоит объединить и осветить тот уже довольно значительный материал, какой до сих пор был собран и какой должно еще доставить начатое (1891) академическое издание его сочинений...

Мы видели, как задолго до Ломоносова в возникавшем кругу несколько образованных людей начинают появляться признаки новых литературных вкусов. В тесной связи с книжными преданиями конца XVII века, если не в «литературу», то в «письменность» проникает немалое число переводов, в которых оказались, наконец, характерные произведения западно-европейской поэмы, романа, повести конца XVII и первой половины XVIII века. Не было еще никакого определенного воздействия ни школы, ни сильного руководящего таланта, между тем настроение уже изменилось; образованные или грамотные люди были больше или меньше подготовлены к новому складу литературы, — первые непосредственным знакомством с литературой французской или немецкой, вторые — упомянутыми переводами. Тредьяковский не усумнился в 1730 г. издать свою «Езду в остров любви», аллегорический и сентиментальный любовный роман, который на самом деле должен был показаться не малой странностью среди тогдашней печатной литературы; но читатель литературы рукописной был уже знаком с подобными произведениями. Таким же образом псевдоклассическая трагедия и комедия не были совершенной новостью после школьного и придворного репертуара. Форма лирики в виде оды знакома была со времен Симеона Полоцкого⁵; в виде легкого стихотворения знали ее, в подражании классикам, еще в школьном стихотворстве начала столетий; в виде любовной песни пробовали ее Монс⁶ и Столетов, и сама цесаревна Елизавета Петровна...

Ломоносов и его современники явились первыми писателями в настоящем смысле слова, писателями по профессии и по призва-

нию, и это одно стало важным фактом*. Это не были уже случайные любители, не помышлявшие действовать открыто на литературном поприще и творения которых безыменно распространялись только в тесном кругу. С ними, напротив, впервые открыта была литературная арена и, следовательно, сознательная деятельность с определенными целями, выступавшая в печать, имевшая в виду весь круг наличных читателей: она должна была служить их пользе и удовольствию, а также открыта была и их критике. Одним словом, здесь впервые возникала литературная жизнь не как случайное явление, но как необходимое явление жизни общественной. Это был целый переворот во внешней, а затем и во внутренней постановке литературы: для нее впервые открывалась возможность широкого развития в будущем на почве общественной жизни.

Когда предшествующие начатки сами собой должны были указывать, как последующий шаг, известную организацию новых литературных стремлений, литературный труд действительно образовался теперь как профессия. Первые представители ее явились как бы не случайно из различных слоев общества: Ломоносов был свободный крестьянин, Тредьяковский был церковник, Сумароков происходил из старого дворянского рода. Образование их, при всей немногосложности тогдашней школы, шло довольно различно. Тредьяковский и Ломоносов прошли предварительно церковную школу в Московской славяно-греко-латинской академии; первый стал профессором элоквенции, второй — естествоведом; Сумароков учился в шляхетном кадетском корпусе; все трое, однако, обратились в конце концов, и даже очень скоро после своей школы, к одному источнику своего дальнейшего литературного образования — к новейшей западно-европейской литературе, хотя первым двум школа вовсе этого не указывала, и только у третьего школьное учение привило вкус к французской литературе, который у Сумарокова сделался страстью. Литературные вкусы в новом направлении возникали таким образом сами собой. Первый пример уже довольно скоро нашел последователей, а затем число их стало размножаться в сильной прогрессии, — хотя, впрочем, размножение было больше количественное, чем качественное. Деятельность этих трех писателей была началом новой русской литературы. Хронологически это начало восходит к тридцатым и особенно к сороковым годам XVIII века**.

Эти первые писатели были опять весьма различны по складу ума и дарования. Ломоносов был сильный положительный ум научного склада, если не поэт в широком смысле слова с творческой фантазией,

* Кантемир⁷ остался еще в области «письменности»: его сатиры изданы были лет через двадцать после его смерти и когда уже приходила к концу деятельность Ломоносова.

** Они были почти однолетки: Тредьяковский 1708–1769, Ломоносов 1711–1765, Сумароков 1718–1777.

создающей живые образы, с тонким чувством, то, во всяком случае, способный к поэтическому настроению и способный сильно выражать его в известной области — в изображениях широких явлений природы, в порывах патриотического чувства, и всех превышавший в свое время чутьем и знанием языка. Тредьяковский, столь некогда ославленный за свою бездарность, но в последнее время находивший наконец защитников, был по своему времени человек с большим литературным образованием и бесконечным трудолюбием, имеющий за собой несомненную заслугу правильного определения свойств русского стиха, но сам много писавший стихами крайне уродливыми и совсем лишенный в этом случае и чувства изящного, хотя теоретически мог понимать его, что он доказывает, например, указаниями на красоту нашего песенного стиха. Сумароков был прежде всего плодовитый версификатор с известным поверхностным дарованием, сполна увлеченный своими французскими образцами и несколько самостоятельный только в своих желчных сатирических произведениях, которые, впрочем, имели довольно тесный горизонт. При всем различии этих характеров и их литературного содержания, эти первые писатели сходились в одном общем стремлении. Они одинаково чувствовали, что стоят в начале нового литературного периода, и это само собою направило их деятельность.

Перед ними стояла задача созидания новой литературы. Первые годы их жизни прошли в знаменательную эпоху, которая была великим историческим переворотом. Для всех, в ком был живой инстинкт национального величия и в ком пробудилась жажда знания, эпоха Петра должна была представляться повелительным указанием дальнейшего труда на поприще начатых преобразований и на поприще знания. Едва ли во всей нашей литературе прошлого века был другой писатель, который глубже был проникнут чувством того и другого, чем был Ломоносов: это чувство стало для него убеждением, проникавшим неизменно все его помыслы. Память Петра была еще свежа, и подобное настроение господствовало и в тоне официальной жизни, и в искреннем убеждении наиболее образованных людей. В применении к литературе и науке исполнение заветов Петра было также обязательно, каким признавали его в других областях национальной жизни. В чем должно было оно состоять, было ясно. Если Петр водворял у нас науки, надо было продолжать его дело, которого, по его многосложности, он не успел совершить; задуманное и решенное им надо было осуществить, как только по его смерти можно было основать задуманную им академию наук. Труда предстояло очень много, и в числе наук, которые нужно было водворить, была также и литература (*schöne Wissenschaften, belles lettres*⁸), которая так богато процветала у всех просвещенных народов Европы. Для науки, по мысли Петра Великого, основано было учреждение, которое должно было сразу стать наравне с европей-

скими академиями и вместе с тем служить для образования русских ученых людей — в этом учреждении прошла потом неутомимая и страстная деятельность Ломоносова; но должно было стараться о размножении средств науки и, с другой стороны, заботиться о «насаждении» изящной литературы: этой последней надо было служить собственными усилиями — не представлялось другой возможности установить дело, основой которого везде была свободная деятельность писателей. Общение их было возможно только в деле критики и в работах по установлению литературного языка, как это было во французской академии, — и по этому примеру при петербургской академии, еще до Ломоносова, устроилось, как дальше увидим, особое «российское собрание».

Названные писатели чисто случайно стали во главе литературного дела: один, попович, на свой страх и «шедши пеш», сбежал из Славяно-греко-латинской академии в Париж, там слушал лекции и увлекся французской литературой; другой, после той же академии, был прямо послан за границу, где должен был учиться сначала немецкому языку, потом философии и горному делу, — ему рекомендовали также заняться «российским штилем», неизвестно какими средствами; третий учился в кадетском корпусе. Ни об одном неизвестно, чтобы кто-нибудь из них возростал под каким-либо определенным нравственным и литературным руководством. Главный мотив, который пробудил в них страстный интерес к «насаждению» новой литературы, заключался в том могущественном впечатлении, которое оставила недавно только кончившаяся преобразовательная деятельность Петра Великого. Мы видели раньше, как это влияние увлекало непосредственных свидетелей и современников преобразования, и долго после, в течение целого последующего века, его память, укрепляемая наглядными результатами, возбуждала умы, восприимчивые к интересам просвещения. Такими восприимчивыми, хотя очень различными по размерам дарований, людьми были и названные писатели, и ими сполна овладело стремление доставить русской литературе то, чего ей еще недоставало на новом пути национальной жизни. В силе политической Россия со времен Петра сравнивалась с самыми могущественными государствами Европы; нужно было, чтобы она не уступала им в просвещении и литературе. Достичь этого можно было только перенесением в Россию, усвоением ей тех успехов просвещения, какими гордилась тогда Европа. Если можно было заимствовать устройство войска, флота, усвоить разнообразные технические знания, отчего нельзя было таким же образом усвоить успехи литературы?

Исторически было, конечно, великим заблуждением думать, что перенять и основать новую науку и литературу было так же удобноисполнимо, как завести новое войско, флот, горное дело, фабрику и т. п. Но это заблуждение было психологически весьма естественно.

Недавняя история дала в самом деле поразительные факты успехов, сделанных в течение не больше как одного поколения: войско учили иноземцы, флот устроен по иноземному образцу, — но это войско уже вскоре одержало полтавскую викторию, отвоевало вместе с флотом в чужой земле место для новой столицы, флот одержал победу при Гангуте⁹; немцы или шведы помогли устроить горное дело, — но новые богатства послужили русскому могуществу; новые «инвенции в науках», которые сделаны были выписанными иноземными учеными, опять пошли на пользу России, и такие «инвенции» стали делать потом и «природные» русские... Почему не могло быть, того же в «словесных науках»? Источник, откуда брались новые государственные учреждения (войско, флот и пр.) и откуда брались новые науки, был один и тот же: Западная Европа; но там же, и только там, процветали и словесные науки, которые шли рядом с богатыми успехами учености. Ясно было, что и для «насаждения» литературы следовало обратиться к тому же изобильному источнику.

Остановимся на этих отношениях, которыми надолго вперед определилось дальнейшее движение нашей литературы и которые издавна и в последнее время снова бывали спорным вопросом. Напомним давнишние укоры нашей литературе XVIII века в подражательности и еще недавние обличения всего так называемого «петербургского» периода в «рабстве» перед Европой, возвратившиеся наконец и в литературе современной в виде теории культурных типов, по которой европейское содержание, которое так усердно нами заимствовалось, было для нас как будто совсем не нужно или даже вредно, отдаляя наш «культурный тип» от настоящего свойственного ему пути развития. В тех условиях, в каких русская умственная жизнь (или культурный тип) встретила с западноевропейской, были неизбежны те явления подражательности, на которых делается ударение, и если взять эти отношения с более широкой исторической точки зрения, они представляются совершенно естественными.

Русский народ по своему племенному источнику и по христианству, которое после падения античного мира было основой средневековой жизни Европы, и по самым начаткам своей истории в древнем периоде принадлежал к семье народов европейских, а не азиатских. Этими условиями предполагалось для него дальнейшее развитие в том же европейском направлении, на которое могли указывать и тесные связи старого русского просвещения с Византией. Наши Средние века, со времен татарского нашествия, без сомнения, насильственно изменили ход нашей образованности, ослабив или совсем уничтожив на то время общеевропейские связи*, но с тех пор,

* Не касаемся здесь частных, которые, с одной стороны, усиливали солидарность европейских народов между собой, с другой — отдаляли от них русскую жизнь, как, напр., непосредственная преемственность античной

как исполнились вековые надежды и «Бог освободил от орды», когда русское государство в первый раз прочно установилось, уже вскоре одною из постоянных забот московских государей стало привлечение в Москву западных ученых людей и техников. Мы видели раньше, как с течением времени эта забота все разрасталась, как впервые явились свои ученые люди из Киева, так что наконец призыв иностранных ученых при Петре мог бы считаться последовательным продолжением ранее принимавшихся мер. Таким образом сама московская Россия, хотя усиленно заботясь о вероисповедной неприкосновенности русских людей, в принципе признавала необходимость и пригодность для русской жизни западного знания и западного искусства (в основании театра, в вызове иноземных музыкантов, живописцев и т. д.). При Петре все это делалось уже в гораздо более широких размерах, и, главное, прежнее случайное и отрывочное искание западного знания стало обдуманым, сознательным и принципиальным. И как видим, с этим не было введено в русскую жизнь какое-либо новое, ранее неизвестное начало, а только приведен в сознание давно, в сущности уже несколько веков бродивший исторический инстинкт... Говорят нередко, что новое образование увлекло только одну часть русского общества, один высший класс, который, находясь в привилегированном положении, по своему легкомыслию «оторвался» от народа, и на этом было в особенности основано великое осуждение нового направления; но в сущности процесс был совершенно иной: новое направление было принято всем тем составом общества, который мог быть приготовлен к этому школой. Если раз школа подготовляла известную ступень разума, то для нескольких образованных людей уже не было другого пути дальнейшего развития, кроме пути европейской науки и литературы. Как мы отчасти видели и как еще увидим далее, это усвоение западноевропейского просвещения совершалось на первое время очень медленно, — так это и бывает в процессах органических, — а с другой стороны, этот органический, а не насильственный и случайный характер движения обнаруживался тем, что чем дальше, тем оно становилось шире, внутренне сильнее, глубже, все более проникалось национальным и народным содержанием.

Этот период заимствования, подражания, наконец национального усвоения не представлял, с другой стороны, никакого исклю-

цивилизации на Западе (по историческому и географическому соседству), как давнее объединение западных народов церковною латынью, которая стала в то же время общим языком науки, как церковное разъединение Востока и Запада вероисповедной борьбой католицизма и православия, как разъединение их потом сильно возросшим различием в степени культуры и т. д. Эти обстоятельства в сложности в конце концов сильно затруднили наше образовательное объединение с Европой, но не уничтожили указанной выше главной его основы.

чительного явления в общем историческом ходе цивилизации. Вся ее история была длинным последовательным рядом заимствований, взаимодействий и национальных развитий. Сколько бы новейшие теоретики племенного и культурного разделения человечества ни настаивали на национальных особенностях, на различии и даже будто бы неизбежной враждебности отдельных видов человечества, сколько бы ни хотели подорвать и даже осмеять представление об «единой цивилизации», будто бы просто фантастическое, остается исторический факт, что при всей массе племенных разновидностей, при множестве оттенков цивилизации, происходящих от множества различных условий племенной жизни, есть известные общие условия, которые делали и делают возможным переход от одного народа к другому известных приобретений человеческого труда, которые становятся наконец общим культурным достоянием. Так переходили результаты этого труда в области знания и искусства. Предания самого античного мира выводили начатки греческой культуры из Египта и Азии. В истории всех народов можно указать, эту международную связь знаний, обычаев, искусств и т. д. Заимствования не уничтожали племенных особенностей, но обогащали племенное содержание, доставляли ему новые области проявления, развивали его силы и давали возможность более широкого исторического действия. Рим не стал греческим от тех широких влияний, какие он принял из просвещения покоренной им Греции, но несомненно, что его собственное историческое могущество возросло, когда к его собственному содержанию прибавилась сила греческого просвещения. Один из самых могущественных факторов человеческой цивилизации, даже самый могущественный, какой знала история, христианство, в своей глубочайшей основе проникнутое именно духом чисто человеческого общения, отрицанием какой-либо национальной привилегии, и до ныне не устранило в человечестве старого племенного соперничества и вражды; тем менее были бы в состоянии ослабить или стереть национальные черты те сравнительно ограниченные понятия, которые приносил от одного народа к другому обмен культурных познаний. С другой стороны, несомненно, что культурные влияния, приходящие извне, оставляют свой след на духовной и материальной жизни племени и, следовательно, в конце концов видоизменяют больше или меньше его природу. Для племен новой Европы христианство было извне пришедшим культурным влиянием, и под его действием создавалась цивилизация новейших времен, изменились первобытные мировоззрения, а также облегчен и ускорен был путь междуплеменного понимания и взаимодействия.

Как мы сказали, вся история новой цивилизации — еще в гораздо большей степени, чем история древней, — наполнена фактами этого взаимодействия. На почве христианской церкви соединяют-

ся равноправно умственные силы всех племен в выработке учреждений, образования, литературы. Умственные центры привлекают разноплеменную аудиторию любознательных людей; взаимодействие научное сопровождается взаимодействием народно-поэтическим и литературным; рыцарство становится общим бытовым явлением, и с ним культ женщины. С первых шагов средневековой латинской литературы, наряду с церковным содержанием сохраняется память об античной литературе, на первый раз римской, и чем дальше, тем больше разыскиваются и изучаются римские писатели: Виргилий становится в популярном предании чародеем и для самого Данта посредником между миром живым и загробным. Когда подлинная греческая философия была еще неизвестна, Запад знакомится с Аристотелем через арабов и ученых евреев и делает его краеугольным камнем схоластической философии. Еще иным давним источником культурных влияний была для Запада Византия, хранившая много преданий античной греческой образованности и доставлявшая также образцы искусства и художественного ремесла; в течение крестовых походов не мало культурных знаний Запад приобрел даже с мусульманского Востока, с которым в промежутках военной борьбы велись самые оживленные торговые и промышленные сношения, даже обмен научного знания, когда еще была в своем расцвете образованность арабов... Давний интерес к античному преданию и связи с Византией сделали едва заметным первое начало так называемого Возрождения, которое с XV века стало наконец великою силой европейского образования. Первые блестящие плоды оно принесло в Италии, где и древнее предание было ближе и где рядом с бурной политической жизнью и оживленной практической деятельностью богатых торговых республик развились интересы науки и искусства. Одно время Италия была их главнейшим приютом; затем классическое образование перешло через Альпы, распространилось по всем землям Западной Европы, — античный мир стал предметом самого ревностного изучения в университетах, высшим образцом в литературе, создавал наконец новое мировоззрение, которое порвало с средневековой схоластикой и послужило началом свободного научного исследования. Из средневековой церковной латыни, обновленной новым изучением классиков, выработалась новая латынь, которая стала если не всеобщим, то чрезвычайно распространенным языком науки, наконец даже поэзии: в XVI–XVII столетиях бывали латинские поэты, приобретавшие великую славу — в многочисленном тогда кругу латинистов*. Этот общий предмет изучения и удивления и общий латинский язык ученой литературы открывали широкое взаимодействие

* Таков был, напр., польский латинист Сарбьевский (Sarbievius), которого, между прочим, похвалял и рекомендовал Тредьяковский.

европейских литератур, где это латинское содержание отражалось и на литературе национальной. Важный ученый труд, крупное литературное произведение, затрагивавшее общие вопросы нравственно-общественные, становились общим достоянием, и литературы отдельных стран в разное время приобретали широкое влияние вне своей собственной области, наконец и там, где они действовали вне ученой латыни, в своей собственной, национальной сфере. Таково было в особенности обширное влияние французской литературы XVII века, в эпоху сильнейшего развития ложного классицизма. Она выросла, в результате эпохи Возрождения, путем чрезвычайно оживленной литературной деятельности, под влиянием особых условий французской жизни, силами целого ряда замечательных дарований и в конце концов представила блестящую плеяду писателей, которых слава совпадает с правлением Людовика XIV. Это было время высокого политического значения Франции, наполнявшего французов чувством величайшей национальной гордости, время роскошного развития утонченной придворной жизни, которая становилась недостижимым примером подражания для остальной аристократической Европы, но также время усиленного научного и литературного труда. Литература в лице Корнеля, Расина, Мольера, Буало была «украшением двора»; она построена была всего больше на стиле Возрождения, выработала известную манеру, где античные герои так часто говорили изысканным языком французского XVII века; но вместе с тем эта литература имела столько внутренних достоинств, проблесков истинной поэзии, тонкого чувства, а также глубокой мысли, наконец, замечательной выработки формы и языка, что неудивительно то широкое влияние, какое получила она во всей Западной Европе. В эпоху, когда монархизм окончательно брал верх над остатками средневекового феодального строя и уже готовилось господство «просвещенного абсолютизма», эта искусственная, но несомненно изящная литература могла стать «украшением двора» и в других странах; вместе с тем французский ложный классицизм стоял на почве близкой и любимой по общим уже представлениям о высоком достоинстве античных литератур, которые считались вершиной поэтического совершенства и единственным образцом: отсюда необыкновенный успех ложноклассической французской поэзии. Мы встретимся дальше, в русских отголосках псевдоклассицизма, еще с одним явлением, которое давало повод к не совсем правильным толкованиям. Как монархизм XVII века устранял в практической политике феодальное предание, так новая литература, воспитанная классическими увлечениями Возрождения, стала в отрицательное отношение к другому феодальному преданию — к средневековой поэзии: в самом деле, непосредственное содержание последней становилось чуждым с тех пор, как стало образовываться новое мировоззрение на основах классической фило-

софии, мировоззрение, по существу отрицавшее средневековую систему мифа и легенды, и, с другой стороны, новому чувству формы не отвечали уже произведения полународной старины с тесным кругом образов и мало выработанным языком. Писатели и теоретики псевдоклассицизма во Франции, Германии и т. д. с высокомерным пренебрежением смотрели на эту старину, которую считали веком варварства, как ее поэзию считали безвкусным созданием черни. Для Буало и его современников настоящая французская литература начиналась только с Малерба. Это понятие перешло буквально и в русскую литературу XVIII века: условия были совсем иные, но под влиянием псевдоклассического взгляда настоящей литературой полагалось только то, что основывалось на древних образцах и было как бы их историческим продолжением — единственным, какое было достойно настоящей литературы, и точно так же казалось варварством то старое, что не имело этой классической основы. Здесь и был теоретический источник того отрицания, с каким писатели XVIII века относились иногда к старому, к народному или простонародному, которое на тогдашнем языке называлось «подлым»... Мы увидим, однако, что уже на самых первых порах возникало и совсем другое отношение к народному, и отсюда произошло новое движение, все больше и больше стремившееся к национальному содержанию и наконец сделавшее его основным началом литературы...

Самый французский псевдоклассицизм не был, однако, нераздельным созданием французского возрождения: Корнель искал образцов у испанцев, Мольер в первых произведениях следовал за испанской комедией и итальянской арлекинадой. Если таким образом славная эпоха французской литературы не была свободна от заимствования, каким было наконец и самое увлечение классиками и классическими теориями поэзии, где считались законодателями Аристотель, Гораций и Квинтилиан, то ее собственное распространение в других странах Европы было длинным рядом примеров международного заимствования и подражания: французский псевдоклассицизм создал целые школы в литературах итальянской, испанской, английской, немецкой. Это был целый литературный цикл, который был господствующим явлением европейской литературы XVII–XVIII веков, пока наконец это явление не было пережито и не дало место самостоятельному воздействию национальных литератур, которые не только выдвинули свои особенные черты содержания и формы, но и возымели, в свою очередь, широкое влияние в области европейской мысли и поэзии. С XVIII века идет все возрастающее влияние прежде совсем неизвестного или пренебрегаемого Шекспира, потом английской философии; в Германии со времени Лессинга и Гердера начинается свое могущественное движение, которое, при общем действии немецких национальных элементов, Шекспира и более глубокого изучения самих классиков

и наконец народной поэзии, свергло оковы ложного классицизма, восстало против самого «просвещения» второй половины XVIII века и, отрицая его рассудочность и материализм, открыло путь романтизму и новейшей литературе. Когда в XVIII веке стала вообще расширяться деятельность литературы, открывается целый обширный процесс литературных взаимодействий не только в отношениях литературных школ, но и среди отдельных писателей, частные вкусы и стремления которых с своей стороны содействовали международному сближению умственных и художественных интересов.

Таким образом, когда около половины XVIII века начинается и скоро делается господствующим влияние французского псевдоклассицизма в нашей литературе, это был вовсе не исключительный факт ее частной подражательности, а отголосок целого европейского явления. Этот французский ложный классицизм оказывал в то же время влияние в литературах гораздо более старых и богатых, не только в романских, но в немецкой и даже английской, которая уже во второй половине XVI века имела Шекспира. В то время, когда наша литература делала свои первые школьные опыты, французская литература была во всем блеске своей славы, на которую еще не покушалась критика; это был признанный образец, а для наших начинавших писателей это было целое откровение. Здесь все было ново: и самое содержание с новыми поэтическими образами, с неведомыми раньше изображениями чувства, и новая, невиданная прежде красота формы и языка. У одних, более или менее близко знакомых с французской литературой, это было впечатление непосредственное; у Ломоносова, который, по-видимому, был знаком с нею меньше, те же впечатления могли быть получены через немецкую литературу. Вместе с тем, как мы видели, понимание и восприятие этого нового литературного содержания было, однако, облегчено: между старой письменностью и этим новым явлением была уже проложена переходная ступень в рукописной литературе конца XVII и начала XVIII века, а главное, античная подкладка французского псевдоклассицизма была уже хорошо знакома всем, кто с конца XVII века проходил киевскую, а потом московскую академическую школу. Книги Петровской печати доставляли уже специальные руководства для знакомства с греческой и римской мифологией.

Наконец, когда у названных писателей под влиянием их литературного образования сложилось представление, что литература должна быть не случайным делом отдельных любителей (как было у нас прежде), а целой особой областью просвещения и общественной жизни (как было у всех образованных европейских народов), у этих первых писателей должен был явиться принципиальный вопрос: каково должно быть содержание и форма этой новой желаемой литературы, как сравняться с другими просвещенными народами,

на чем основать свою русскую литературу? Мы видели, что решение этого принципиального вопроса было для них уже дано их первым несколько близким знакомством с западноевропейской литературой, прежде всего французской, а также и немецкой. Они увидели на ту минуту безраздельное господство псевдоклассицизма, и естественно, что эта форма представлялась им единственной, в которую могла и должна была сложиться русская литература.

Старая письменность не могла ничем послужить им: она давала только церковное поучение и вирши Симеона Полоцкого и его преемников; начатки, какие появлялись в упомянутой рукописной литературе и в драме начала столетия, или состояли только в переводах, или были слишком грубы, без всякой мысли о правильной постановке литературного вопроса. Но для органического установления литературы необходимо было именно поставить этот вопрос.

По самому существу он распадался на две задачи — определить содержание и форму новой литературы и выработать ее язык. Первая решалась сама собой: необходимо было усвоить русской литературе те формы, которые господствовали у других, просвещенных народов — усвоить классическую эпопею, лирику и драму, очевидно путем подражания «образцам». Ломоносова, Сумарокова и Тредьяковского предупредил в этом Кантемир, и который кроме Горация и Ювенала уже обратился к Буало¹⁰; но то, что было у Кантемира единичным и случайным примером, надо было установить в правило и определенную систему. Другая задача была не легче, и русские писатели были предоставлены здесь только своим собственным силам: это был вопрос о литературном языке. Никогда прежде он поставлен не был. Исстари полагалось, что книжный язык не может быть иной, чем тот, какой заключался в Писании и книгах церковных; к этой речи стремились с тех пор церковные писатели, — которые и доныне не могут освободиться от тяжелой славянщины; и так как в течение долгих веков «книжное почитание» состояло всего больше в церковных книгах, то этот склад речи стал как бы обязательным. Правда, с первых же памятников нашей литературы врывалась в книгу и живая народная речь, которая становилась неизбежной там, где говорилось о предметах практической непосредственной жизни и где церковно-славянский язык мог просто оказаться недостаточным и уступка была очевидной необходимостью: так живые, прекрасные проблески народной речи, кроме чисто деловых актов, как «Русская Правда», грамоты и т. д., являются уже на самых первых страницах летописи, в поучении Мономаха, Слове Даниила Заточника¹¹, в паломниках и т. д., не говоря о Слове о полку Игореве. Самый церковный язык испытал глубокое влияние народной речи, без сознания самих книжников. Эпоха Петра и здесь послужила переломом. Как образование, которое он стремился ввести, было по преимуществу или исключительно светское,

так и тот язык, которым писались книги его времени, стремился быть обыкновенным языком простой практической жизни. Старое предание и новые требования смешались, и когда присоединился к этому еще запас новых знаний и научных понятий, которые передавались или прямо в сыром виде иностранными словами, или грубыми и неумелыми переводами, то в результате получилась необычайная путаница разнородных стихий, доходившая иногда до того, что была совсем невразумительна. С конца XVII века была введена и «поэзия», но пока ни мало не поправила дела, потому что, не говоря об ее тяжеловесном содержании, взяла чужую, совсем не свойственную русскому языку форму стиха, которая осталась уродливой даже у писателя с новым образованием, как был Кантемир. Когда при этом названные писатели обращались к избранным ими иноземным образцам, они встречали в них и богатый язык, способный выражать самые тонкие движения мысли и чувства и, в особенности у французов, с внешней стороны выработанный до высокой степени точности и изящества: сравнение представлялось само собою и не могло не вызвать мысли об организации русского литературного языка. Мы скажем дальше, что предпринималось для этой цели.

Таковы были задачи, которые должны были предстать возникшей литературе, и названные писатели действительно поставили их в самом начале своей деятельности. Но чтобы исторически оценить эту деятельность и ее результаты, необходимо принять в соображение ту почву, на какой им приходилось трудиться. О том, насколько общество могло быть подготовлено к литературному нововведению, может дать понятие состояние школы.

От семнадцатого века осталось два учебных учреждения: киевская академия и московская школа, преобразованная при Петре в Славяно-греко-латинскую академию; бывали также частные архиерейские школы, как школа Димитрия Ростовского в Ростове, Феофана Прокоповича в Петербурге и др.; но эти последние держались, только пока жили их основатели, и только одна южная школа, основанная в двадцатых годах XVIII века, сохранилась и образовала впоследствии харьковский «коллегиум». При Петре являются первые светские школы, частью элементарные, частью технические, как школы цифирные, навигацкая, инженерная, артиллерийская. При академии наук заведена была гимназия, не отличавшаяся, однако, особым благоустройством. При Анне Ивановне основан был шляхетный кадетский корпус. Вот все более или менее правильные учебные учреждения, существовавшие до основания московского университета. Некоторая степень общего образования могла быть получаемая только в высших духовных школах, академической гимназии и частью в шляхетном корпусе; но в духовных школах в полной силе еще продолжала господствовать старая отжившая схоластика; академическая гимназия действовала весьма неровно.

Московская славяно-греко-латинская академия шла по стопам своего киевского первообраза. Несколько подробностей из первой половины XVIII столетия дадут понятие о складе совершавшегося в ней преподавания и результатах, какие из него могли происходить. В области школы также шла борьба старого с новым. Петр назначил протектором московской академии Стефана Яворского, но мы видели, что наконец они разошлись в своих взглядах; указания на характер школы были даны в «Духовном Регламенте», но в московской академии еще долго гнездилась схоластика, против которой восставал Феофан; за скудостью школ, Петр желал, чтобы в московской академии были собраны из всех монастырей империи монахи моложе 30 лет «для учения, кого каких наук возможно», а кроме того, дозволил, чтобы «и градские лучшие приказные люди и дворяне» отдавали детей в академию, — но ее начальство желало скорее сохранить за нею только церковнический характер. В 1725 году из герольдмейстерской конторы прислано было в славяно-русскую школу (низшие классы академии) значительное число недорослей, но ректор академии отказал принять их, ответив, что «в той школе происходят во учении токмо духовных персон дети, которые б могли в духовный чин происходить»*. Но при Анне Ивановне академия наполняется недорослями из знатных фамилий: в 1736 году по определению сената за один раз поступило в академию 158 дворянских детей, между которыми были князья Оболенские, Прозоровские, Хилковы, Тюфякины, Хованские, Долгорукие, Голицыны, Мещерские и пр.; но здесь же были и люди совсем иного класса — подъяческие, канцелярские, дьяческие, солдатские и конюховы дети**. Приведенные примеры указывают, во-первых, на неопределенное положение школы, которая зависит и от синода и от сената (управлявшего тогда же, в высшей инстанции, и академией наук), и во-вторых, на бедность школьных средств, вследствие которой собственно специальная церковная школа соединяла самые разнообразные общественные слои и одна должна была удовлетворять их весьма несходным образовательным нуждам. Сама академия настаивала, однако, на своем не только церковном, но именно монашеском составе преподавания: «киевские наставники (они долго занимали главную роль в профессуре), усвоив себе дух иночества в древней столице православия, старались и в Москве утвердить

* Смирнов С., История московской славяно-греко-латинской академии. М. 1865, стр. 86, 107, 179. Это было, однако, не точно, потому что мы видим в ее низших классах солдатских детей, присылавшихся из полков. В 1728 году состоялся синодский указ «отрешить» от этой школы и впредь не принимать «помещиков людей (т. е. крепостных) и крестьянских детей». Там же, стр. 180.

** Там же, стр. 107. Выше мы видели эти княжеские фамилии среди исполнителей торжественных действий в московской академии.

за монашеством господство в области науки; вследствие их влияния считалось почти необходимостью поручать ученые кафедры во всех классах преимущественно монашествующим; много было курсов, когда в академии между наставниками не было ни одного светского лица». В 1744 был в низшем классе один светский учитель, но и его сочли нужным удалить; по определению синода велено было «Григорья Кондакова из учителей, понеже он монашеского чина поныне не приемлет, исключив, ни к каким школам не определять»*.

Соответственно этому, преподавание и теперь сохраняло вообще основные черты старой киевской схоластики, и в высших курсах главнейшие предметы академической науки излагались прямо на латинском языке: этому языку придавалось особенное значение языка «единоначальствия» ...**

Центром преподавания было богословие, затем философия, то и другое в строго схоластических приемах. Схоластические умствования приводили к тому, что, по словам историка академии, «разум указывал в рассматриваемом предмете (вероучении) такие стороны, такие признаки, к указанию которых Откровение не дает ни малейшего повода, объяснял места писания в таком смысле, который могла отыскать только страсть к утонченным исследованиям»; и богословие разрешало, напр., такие вопросы: где сотворены ангелы? могут ли они приводить в движение себя и другие тела? как они мыслят и понимают — посредством соединения, различения или как-нибудь иначе? каким образом они сообщают друг другу свои мысли? сколь великое по объему место может занимать ангел? могут ли Божеские лица принять человеческую природу и природу других существ сотворенных? о познаваемости и возможности воплощения; в чем состоит сущность света славы в жизни будущей? и т. д.*** Руководством в этих дебрях служили средневековые и новейшие схоластики, в том числе и иезуиты... Подобным образом ставились и решались вопросы философии, где основным авторитетом был Аристотель, истолкованный схоластиками. В лекциях Феофилакta Лопатинского упомянут и Декарт, но постоянно опровергается; в философию входила по старинному кроме метафизики и физика, и последняя, мешаясь постоянно с метафизикой, с богословием и психологией, излагается с утонченными исследования-

* Там же, стр. 148–144.

** Любопытно, что это объяснял даже ученик Лихудов, Федор Поликарпов, в предисловии к своему трехязычному лексикону: греческий язык есть язык мудрости, латинский язык — единоначальствия; объясняя значение надписи на кресте Спасителя, он говорил: «латинским языком знаменуется вся твари единоначальствующа Господа бытии»; а в настоящее время: «латинский диалект ныне по кругу земному паче иных во гражданских и школьных делах обносится».

*** Там же, стр. 143–144.

ми о существе вещей и нередко с фантастическими рассуждениями о настоящей природе. В физике и метафизике смешиваются вопросы самые отвлеченные и самые реальные, и последние обыкновенно излагаются в том же странном средневековом стиле. Физика разбирает, может ли материя существовать без всякой формы, что можно сделать с помощью искусства и чего нельзя, говорит о натуральной магии, занимается исследованием свойств тел, движения, покоя, может ли существо сотворенное существовать вне места и т. п. В психологии после главы о душе следует трактат о волосах, есть ли в волосах жизненная сила, отчего у стариков волосы выпадают, отчего у женщин не растет борода и т. п. После объяснений о силах и действиях души идет речь о душе прозябательной, о процессе питания, о кровообращении, потом о рождении живых существ. «В этой главе,— говорит историк,— многие физиологические вопросы могли бы быть опущены, как малополезные для строгого вкуса и тяжелые для чувства целомудренного. Неуместнее всего представляется после изложения разных физиологических тонкостей решение вопроса *de purificatione Beatissimae Virginis*». В главе о системе мира прибавлен вопрос о предметах, которых настоящее существование в мире сомнительно; к ним философ относит рай, сирен, розу без шипов. Относительно рая приводятся мнения схоластических мудрецов: один полагал, что рай имел около 40 миль в окружности; другой, что он был похож на какое-либо царство, например на Испанию или на Польшу, но вообще полагается, что следы рая уничтожены Ноевым потопом; относительно Илии и Еноха, которые живы до сих пор, неизвестно, где они теперь. Наконец: «Росла ли в раю роза без шипов? На это Василий Великий, Амвросий и Дамаскин отвечают утвердительно: ибо после падения уже сказал Бог Адаму, что земля возрастит терние»*.

С течением времени новые философские учения начинают проникать и в этот приют схоластики, но в то время, о котором мы говорим, она процветала еще в полной мере, и, напр., наука о природе трактовалась по средневековому образцу, когда в настоящей науке совершались великие открытия, которые при Петре начинали находить место и в русской книге: были уже названы имена Коперника, «Гюенса», но Стефан Яворский думал, что богословы могут смеяться над Коперником. Такие богословы были в той академии, которой Стефан был протектором, и удержались еще долго после него... Преподавание других наук — реторики и пиитики — совершалось в том же старом схоластическом направлении. В результате его производились натянутые и высокопарные риторические упражнения, которые неизменно сопровождались украшениями из греческой мифологии, обильное силлабическое стихотворство, между прочим,

* Там же, стр. 159 и далее.

в тех школьных драмах и торжественных действиях, о каких мы раньше говорили... Историки этой старой школы указывают, что схоластическое преподавание при всех его недостатках, которые теперь бросаются в глаза, имело свою полезную сторону в том, что путем постоянных логических упражнений приучало к работе мысли, к точному рассуждению, что оно приготавливало, например, опытных богословских полемистов и т. п.; но рядом с этою пользою оно имело и свои несомненно вредные стороны. Схоластическое умствование несомненно приносило тот вред, на который указывал некогда Феофан. Он писал однажды профессорам академии киевской, что схоластика занимала учеников пустыми спорами, но поселяла в них уверенность в приобретении мудрости; что науку надо преподавать основательно и достойно, а не делать из нее комедию. Богословие и философия в той форме, как мы указывали, действительно впадали иногда в комедию, а проповедь, как обучала ей схоластическая реторика, продолжала напоминать ту «фабрику испорченного красноречия», против которой Феофан вооружался еще в своих первых киевских трудах: наша проповедь надолго сохранила эту фальшивую риторическую манеру, которая так помогала ей удаляться от действительных задач жизни, даже делала ее совсем бесплодной для паствы... В конце концов, известная степень науки все-таки воспринималась и потребность в ученых людях была такова, что питомцы академии шли не только в церковное служение, но требовались и на разные дела гражданской службы: из них брали подготовленных учеников для академической гимназии в Петербурге, и в числе их был, напр., Ломоносов.

Постановка учебного дела имела в те времена и другой великий недостаток — бегство из школы самих учеников. Некоторые усердные защитники старой Руси утверждали, что причиной бегства было то, что школа XVIII века — и та, которую заводил Петр, и та, какую в церковном ведомстве устраивали киевские ученые, — не отвечала русскому народному характеру. Это возражение могло бы иметь смысл в том случае, если бы в старой России можно было действительно указать какую-нибудь настоящую школу, но такая школа не существовала. Дело объясняется проще: громадная масса людей не чувствовала в школе никакой потребности, считала ученье излишней роскошью (по стародавнему заключению, что «отцы наши не глупее нас были и обходились без школы» и т. п.), и даже вредной, потому что можно было «зайтись в книгах» и потерять разум, — дикое представление, на которое негодовал еще Курбский; молодые поколения охотно принимали это соображение и бежали из школы, чтобы не утруждать себя ученьем. Историк академии замечает просто, что мысль о необходимости образования не могла быть скоро всеми принята с убеждением и охотой, потому что «старая привязанность к праздному невежеству еще нравилась многим»,

и это справедливо*. «Духовный Регламент» замечает, что набор в школы в глазах родителей похож был на рекрутский набор. Родители оплакивали своих детей, которых брали в школы, совершенно так же, как древний летописец говорил это о временах Ярослава; и когда школьники бегали из школы, родители только помогали им укрываться. В конце концов от родителей брали «сказки», что они укрывать беглецов не будут; синод приказывал брать в школы всех поповских детей, «а которые во учении быть не похотят, тех имать в школы и неволею», и назначен был денежный штраф за неявку... Старина держалась так крепко, что происходили, наконец, столкновения между епархиальной властью и приходами: когда архиерей назначал к церкви ученого церковника, приход выставял своего кандидата, хотя и не ученого; в самой Москве бывали столкновения, в которых влиятельный прихожанин заявлял: «я плюю на богословию и что нам есть от богословии», что им школьников отнюдь не надобно, пусть школьники идут в села и учат там деревенских мужиков, а московские жители до них еще переучены, да и лучше их, и если школьник вперед придет в их церковь, то они определили — метлой его выгнать. Не отличались от подобных прихожан и некоторые архиереи. С тех пор как стали вызывать в Москву ученых архиереев из Малороссии, они встречали в Москве большую вражду со стороны менее ученых архиереев великорусских, и последние свое нерасположение к «черкасам» переносили и на школы, о которых те начинали заботиться, — тем больше, что содержание школы уменьшало архиерейские доходы. В Казани архиерей предпринял гонение на школу и учителей; в Архангельске архиерей Варсонофий говорил о большой, хорошо выстроенной школе: «Чего ради такая не по здешней епархии школа построена? да и школам в здешней скудной епархии быть не надлежит; к школам охоту имели бывшие здесь архиереи черкасишки, ни к чему негодницы». Этот неохотник до школы и в других отношениях сохранял старинные нравы, отличался грубостью и жестокостью; однажды, подгулявши, собственными руками прибил соборного ключаря и велел водить его на цепи вокруг монастыря в жестокий мороз; назначал в священники людей моложе двадцати лет, брал взятки со ставленников... В царствование Елизаветы Петровны в самой Москве было не больше 40 ученых священников и диаконов, включая сюда не окончивших академического курса**. Должно сказать, впрочем, что некоторым извинением этого бегства от школы могло служить чрезмерное количество бесплодной схоластики, каким отличались академии — только московский купец Азбукин, «плевавший на богословию», не умел высказать своей мысли по-человечески;

* Там же, стр. 105.

** Соловьев. История России, т. XXII, изд. 2-е. М., 1880, стр. 258–260.

но бежали и из школ менее мудреных: приходилось загонять в ученье и дворянских недорослей, как Митрофан у Фонвизина.

Первые светские школы являются только со времен Петра в виде школ цифирных, навигацких, инженерной, артиллерийской. Первая более правильная школа, хотя предназначенная всего более для военного образования, но давшая место и общему образованию, был сухопутный кадетский корпус, основанный при Анне Ивановне, по мысли графа Ягужинского и под надзором Миниха в 1732 году, по образцу прусского кадетского корпуса в Берлине. Мысль о необходимости светского образования была ясно высказана в первый раз при Петре. В законодательном акте, изданном в год заключения Ништадтского мира, говорилось: «Известно есть всему миру, каковая скудость и немощь была воинства российского, когда оное не имело правильного себе учения, и как несравненно умножилась сила его и надъчаяние велика и страшна стала, когда державнейший наш монарх, его царское величество Петр I, обучил оное изрядными регулами». И прибавлялось: «тож разуместь и о архитектуре, и о врачевстве, и о политическом правительстве и о всех прочих делах». Первым учреждением, которое предназначено было специально для светской науки, была Академия наук, которая должна была служить не только целям ученым, но и целям преподавания: при ней должна была устроиться не только гимназия и университет, но должны были найти место художества и ремесла. Академия должна была разрабатывать науку, делать «инвенции», производить разного рода исследования по изучению России, ее географии, ее естественных богатств, ее народов, предпринять (на первый раз руками немецких ученых) изучение ее древней истории и т. д.; в то же время она должна была устроить среднюю и по возможности высшую школу, должна была заниматься художествами, переводить на русский язык и печатать ученые и учебные книги, наконец, участвовать в устройстве придворных спектаклей, иллюминаций и фейерверков, поставлять торжественные оды и публичные речи. Уже это обилие занятий, возлагавшихся на Академию, показывает, как велика была скудость в людях ученых или просто чему-либо учившихся: во всех случаях, где требовалось какое-нибудь ученое или техническое знание (кроме только военного), полагалось, что это должна знать, решать и делать Академия. Ее внешнее положение было соответственно этому довольно странное; она зависела и от своего президента, и от штатс-конторы, и от сената*.

Между тем потребность в несколько образованных людях для целей самого государства, в его возроставшем развитии, становилась все более настоятельной; но учиться было просто негде в том на-

* См. Пекарского, История Академии Наук, т. I–II; Сухомлинова, Материалы для истории Академии Наук, т. I–IV. СПб. 1885–1887.

правлении, какое требовалось для молодых поколений служилого класса, для «шляхетства», как стали его тогда называть. Школ было мало или они были недостаточны; оставалось или учиться кое-как дома, или ехать за границу. Правительство понимало неудобство этого последнего способа: «хотя из того не малая польза происходила, только не без трудности и не без убытку им от тех посылок было, а именно: отлучались от домов и от родителей своих в дальние чужие края, в которых, как в проездах, так и в тамошнем себя содержании и в платеже за науки, понесли великие убытки, а иные, не имея над собою надлежащего смотра, возвратились без плода». В этих соображениях основан был Сухопутный кадетский корпус, главным образом для того, «чтоб такое славное и государству зело потребное дело (как дело воинское) наивящше в искусстве производилось», и чтобы с этой целью, «шляхетство от младых лет к тому в теории обучены, а потом и в практику годны были». Но вместе с тем, кроме наук, «к воинскому искусству потребных», в Сухопутном корпусе дано было место и общему образованию: «по-неже, — говорилось в указе, — не каждого человека природа к одному воинскому склонна, тако ж и в государстве не меньше нужно политическое и гражданское обучение: того ради иметь при этом учителей чужестранных языков, истории, географии, юриспруденции, танцевания, музыки и прочих полезных наук, дабы, видя природную склонность, по тому б и к учению определять». В день открытия корпуса (рассчитанного на двести человек) в нем считалось всего 56 воспитанников, но уже в следующем месяце их оказалось более 300, и в том же году по докладу директора, графа Миниха, новый штат корпуса был определен в 360 человек. Из этого можно заключить, что шляхетство увидело пользу образования по крайней мере для прохождения службы; но бегство из школы оказалось и здесь, хотя в скромных размерах сравнительно с духовной академией и семинарией; в следующем году пришлось принимать против этого меры по случаю побега пяти воспитанников. В Сухопутном корпусе преподавались таким образом не только военные науки, но и предметы общего образования и даже предметы, специально подготавливавшие к гражданской службе. И здесь высшей инстанцией был сенат. К каким результатам приводило преподавание, можно судить, напр., по такому эпизоду. «В 1742 году пред собрание сената представлены были присланные от Академии наук кадеты Колошин, князь Цицианов, Ляпунов, Попов, которые в кадетском корпусе обучались юриспруденции, арифметике и другим наукам и были посланы в Академию наук для свидетельства. Профессора этой Академии в аттестатах показали, что князь Цицианов, Ляпунов и Попов во всей юриспруденции, универсальной истории и географии нарочито упражнялись, по-немецки совершенно говорят и во французском и латинском языках доброе познание получили,

в арифметике и геометрии нарочито искусны, а Колошин в натуральном и гражданском праве несколько упражнялся, в универсальной истории, географии, арифметике нарочитое искусство показал, по-немецки хорошо говорит и обратно с него на русский переводит. Сенат приказал определить этих кадет к правлению секретарской должности — Колошина в юстиц-коллегию, Цицианова и Ляпунова в вотчинную, Попова в судный приказ»*. Любопытно, — замечает Соловьев, — что кадетский корпус в те годы находил русских людей, которые могли быть преподавателями этих предметов и учить иностранным языкам так, что Академия наук признавала в учениках совершенное знание... В этом Сухопутном корпусе, между прочим, обучался Сумароков.

Выше мы говорили, что в Москве существовала медицинская школа, в которую опять проникали, по-видимому, и интересы общего образования; одно время в ней существовал настоящий театр.

В таком элементарном, неустроенном, случайном состоянии находились учебные средства. Школ было, во всяком случае, мало; отчасти их устройство не отвечало ни общим требованиям здравого преподавания по тогдашнему состоянию науки (напр., не говоря о схоластическом богословии по иезуитским учебникам, философия и физика в курсах духовных академий), ни ближайшим потребностям русского школьного образования; сколько-нибудь учившихся людей было немного, и ими спешили воспользоваться для надобностей службы. Если вместе с тем в прежнем «учительном сословии» даже на высоких ступенях иерархии сказывалась самая откровенная вражда к просвещению, то, с другой стороны, там, где школа была поставлена более или менее здраво, она быстро привлекала учеников, как мы видели это в Сухопутном корпусе. С воцарением Елизаветы Петровны в русском обществе явились, по-видимому, новые возбуждения к просвещению. После безобразий предшествующего периода одно появление на престоле дочери Петра Великого создавало надежды, что возвратятся опять времена национальной славы. Мы упоминали выше, как тогдашняя драма, изображавшая иносказательно воцарение Елизаветы, проклинала владычество иноземцев и предсказывала народную славу и благополучие. В том же тоне говорили проповедники первых лет царствования Елизаветы, и, без сомнения, был глубоко искренен Ломоносов в знаменитом похвальном слове Елизавете. Это настроение должно было напомнить стремление времен Петра к водворению наук и одушевлять личные силы; имя Петра в эти годы снова приобретает особый нравственный авторитет, и мы увидим, как писатели этой эпохи усиливаются доказать, между прочим, своими собственными творениями, что русские уже сравнялись с Европой в просвещении. Важное

* Соловьев, там же, т. XXII, стр. 315.

политическое положение, которое Россия успела уже занять в среде европейских держав, заставляло русских людей, которым могло предстоять высокое положение, стараться приобрести образование, которое поставило бы их на уровне европейских знаний и интересов. «Вследствие переворота 25-го ноября,— говорит Соловьев,— немцы, стоявшие на верху, попадали, высшее правительство очутилось в русских руках; но иностранцы толковали, что этот переворот будет гибелен для России, русские по своей необразованности, не умея вести дела, погубят то, что было создано искусным немцем Остерманом, или принуждены будут возвратить его из ссылки. Новое поколение русских людей, выведенное Елизаветою на верх, должно было постараться уничтожить мнение, что без помощи иностранцев Россия не может быть управляема, не может поддержать своего значения, данного ей отцом Елизаветы, а необходимое средство для этого было образование. Алексей Разумовский посылает молодого брата своего учиться за границу; вице-канцлер граф Воронцов едет за границу как для поправления здоровья, так и для образования; молодой Иван Шувалов в образовании, в сближении с учеными, писателями готовит себе знаменитое место в истории русского просвещения. Немцы с презрением относились к необразованности русских; но когда русские в поисках за образованностью внимательнее посмотрели на Европу, то увидали, что сами немцы, столь гордые своим учительским характером в России, у себя дома рабски подчиняются влиянию французскому. Отсюда понятно, что русские люди непосредственно обращаются к Франции, к ее языку, к ее литературе»*.

Царствование Елизаветы было действительно тем временем, когда в нашем обществе стало в особенности распространяться влияние французского языка светских обычаев, а также и литературы; но Петр уже имел большое уважение к французской науке, а первые начатки французского литературного влияния восходят ранее времен Елизаветы, к Кантемиру и к Тредьяковскому; Сумароков, по-видимому, уже в Сухопутном корпусе начитался французской литературы и стал ее поклонником. Эти образцы и послужили первым литературным руководством.

Названные писатели, кроме собственных произведений, считали необходимым дать, в том или другом отношении, и теоретические основания, на которых должна была опереться новая литература. Прежде всего потрудился над этим Тредьяковский. Еще в тридцатых годах он ставил вопросы об истинных свойствах русского стихотворства и обогащении русского языка (для целей литературы); позднее он счел нужным дать переводы теоретических поэм Горация и Буало и сопроводил их своими объяснениями; переводя Телемака,

* Там же, стр. 319–320.

он счел нужным дать трактат об эпосе и т. д. Эти теоретические объяснения стояли вполне на псевдоклассической почве и на русском языке являлись первыми в своем роде. Правда, в преподавании духовных академий уже раньше излагалась реторика и пиитика на очень близких основаниях, потому что они также были в существе ложно-классическими, но, во-первых, преподаваемые на латинском языке, они не выходили за стены школьных святилищ, а во-вторых, не выходили также из рамок школьного латинско-схоластического содержания и совсем не знали о дальнейшем развитии псевдоклассицизма в новой литературе. Тредьяковский думал познакомить русских читателей с тем, что, по его мнению, было самым свежим и авторитетным явлением и законом литературы. Трудно сказать, насколько его переводы Горация и Буало поучали русских читателей, потому что перевод, по его обыкновению, сделан жестокими стихами (Буало) и тяжелой прозой (Гораций), но многие из читателей могли быть знакомы и с подлинником по крайней мере французского поэта. К переводу он присоединил объяснительное введение, а текст сопровождал комментариями; за перевод он принялся с великой серьезностью и решил («пал жребий судом моим») перевести Буало стихами, а Горация прозой: Гораций был главной основой для Буало, и переводчик хотел, чтобы произведение французского писателя, «представляя прежде туж самую твердость, услаждало б притом и мерою и рифмою, и чрез тоб больше предуготовило разумы к внятию их в последнем»; кроме того, он хотел усладить читателя и другим, а именно перевел разные песни ямбическим и хореическим гексаметром попеременно. Наконец, говорил он: «я не оставляю вам донести, благосклонный читатель, и сие, что каждый Буалов Стих изображается каждым же моим одним; так что, сколько у Буало во всякой Песни, и во всех четырех Стихов, столькож и у меня во всем том составе: сие подлинно весьма трудно, но сил человеческих не выше».

Переводчик счел нужным объяснить и другие обстоятельства своего труда. Он опасался, что предприятие, которое, по-видимому, должно бы было принести ему честь «за подъятие труда и за обогащение нашего языка тем, чему у нас давно быть надлежало, и еще при самом начатии словесных красных Наук, напротив того, скоряе может обратиться в причину укоризны и похуления». А именно он боялся, что пристрастные люди будут разглашать, что едва ли переводные стихи могут быть столько же хороши, как подлинники, а также будут осуждать трудившегося, что он «употребил тутже Хореический Гексаметр, который токмо нежен, а не один Иамбический, кой есть высок и благороден». Надо заметить, что у него уже раньше шли споры с Ломоносовым об относительных достоинствах хореического и ямбического стиха... «Весь сей вопль, — продолжает Тредьяковский, — кто услышит издали, тому

он может либо послышаться основательным; но приложившего ближе к нему свои слухи, едва ли он в состоянии обольстив оглушить: он ни пошлые не имеет твердости»*. И он подробно доказывает примерами из классической древности и из новейшей французской литературы, что переводы могут быть не только не хуже подлинников, но будто бы иной раз даже лучше; между прочим из этих примеров оказывается его большая начитанность и в классиках, и во французской литературе. Затем он старается «очистить второй пункт», то есть решить спор о хоре и ямбе, ссылаясь опять на классиков, на Аристотеля, Квинтилиана и Горация.

Давши практический кодекс поэзии, Тредьяковский составил после «Мнение о начале поэзии и стихов вообще». Это был опять первый в своем роде трактат на русском языке. «Мнение» опять свидетельствует о большой начитанности автора и по своему времени представляет весьма здравые рассуждения, в которых он руководился, с одной стороны, классиками, а с другой — новейшими писателями, особенно Фонтенелем и историком Ролленом, которого он вообще почитал. Гораций уподоблял поэзию живописи; он прибавляет, что стих можно уподобить краске, употребляемой в живописи. Поэтому, говорит он, «некто Эризий Путеанский написал основательно: иное быть пиитом, а иное стихи слагать». О поэзии писано много, но о начале стиха не говорил почти никто. Истинное понятие о поэзии есть не то, чтобы слагать стихи, но чтоб «творить, вымышлять и подражать». «Творение есть расположение вещей после оных избрания; вымышление есть изобретение возможностей, то есть, не такое представление деяний, каковы они сами в себе, но как они быть могут, или должны; а подражание есть следование во всем естеству описанием вещей и дел по вероятности и подобию правде»... «Можно творить, вымышлять и подражать прозою; и можно представлять истинные действия стихами», — как объяснял уже Аристотель. Он приводит мнения древних писателей о начале поэзии, свидетельство книги Бытия об Иузале, который, по мнению Тредьяковского, и был первый пиит и первый музыкант, а после потопа первая поэзия была пастушеская; но первая поэзия в соединении с стихами была делом жрецов, которым для исполнения их служения нужен был особый состав речи: посредством стиха речь получала поэтическую возвышенность и красоту. Повторяя в этом мнения своего авторитета Роллена, Тредьяковский прибавляет соображения и о древней русской поэзии. «Сие, — говорит он, — равным образом я разумею и о наших самых первоначальных Стихах: вероятно по всему, что и наши поганские Жрецы были первыми у нас Стихотворцами. И хотя нет ни одного оставшегося у нас образчика языческого нашего Поэзии, однако видно и ныне

* Т. е. простого, обыкновенного образования.

по мужицким песням, что древнейшия Стихи наши, бывши в употреблении у Жрецов наших, состояли Стопами, были без Рифм, и имели Тоническое количество слогов». Дальше мы еще встретимся с этим взглядом. К общему вопросу о поэзии Тредьяковский возвратился в «Письме к приятелю о нынешней пользе гражданству от поэзии». Указав древнее начало и значение поэзии, прославлявшей великих людей, научавшей добродетели, исправлявшей нравы, он полагает, что и в наше время поэзия могла бы сохранить свою прежнюю важность, если бы наше время не довольствовалось во многих случаях другим родом краснословия, именно прозой, которая исполняет многое, что принадлежало прежде поэзии, а поэзия предоставила только разные виды стихотворства. И так прежде стихи были нужное и полезное дело, а ныне «утешная и веселая забава, да к тому ж плод богатого мечтания к заслужению не того вещественного награждения, которое есть нужно к препровождению жизни, но такова воздаяния, кое часто есть пустая и скоро забываемая похвала и слава». Сделав оговорку, что Иоанн Дамаскин и другие святые отцы показали, что стихи имеют великую важность и для православной церкви, Тредьяковский соглашается, что теперь же нет в стихах ни особой нужды, ни большой пользы, но все-таки утверждает, что они надобны, потому что как бывают кроме скромных сельских хижин и великолепные палаты, так нужны и стихи между науками, украшающими разум, или «потолику между Учениями словесными надобны Стихи, поколику Фрукты и Конфекты на богатый стол по твердых кушаньях»... Это рассуждение, нередкое в том веке, своею нелепою формою указывает, однако, что автор разумел, и сам грубо практиковал, поэзию просто как ремесло.

В других случаях он, однако, опять восхищается произведениями поэзии и к переводу Телемака присоединил обширное «предъизъяснение» о героической поэме, которая кажется ему высшим совершенством поэзии: «Ироическая инако Эпическая, Пиима, и Эпопия, есть крайний верх, венец, и предел высоким произведениям разума человеческого. Она и глава, и совершение конечное, всех преизящных подражаний естеству, из которых ниедино не соделывает большие сладости человекам, с природы любоподражателям, коль сие, толикаго превосходства, Эпическое подражание». Героическая поэма несравненно выше живописного искусства: «Сия единая уловляет хитро, что есть самое нежное в чувственностях, а тонкое и живое в мыслях. Едина сия входит и в глубину внутренностей наших, возбуждая в ней преутраенные душевные пружины в подвижность. Соединяя в себе дивным счетанием, все приятности Зографства* и Мусикии, имеет, сверх сих, еще неизреченные, коих нигде инде не заемлет, и которые ведомы ей токмо единой». Она учит до-

* «Живописство», толкует Тредьяковский.

бродетели, она есть нравоучительное любомудрие, она есть история, но все это предлагает в привлекательном виде. Например, «история есть обширная страна, измеряемая всем расстоянием мест, и многочисленением лет; но Эпопия, Поле токмо предлежащее, распещренное цветами и окруженное благосеннолиственными рощами: так что та посылает в далекое и долгое путешествие, а сия изводит на не многовременное токмо гуляние в прохладу. Вкратце, Ироическая единственно Пиима изобрела средство преподавать истину, красующуюся убранством багрянозарным, сияющую удобрением* благоприличным, и высящуюся величию сановным», так, чтобы, «единым воззрением вдруг созерцаемая», она долго удержала на себе «взор, велелепность рассматривающий, как ненасытно дивящийся в любопытстве, и чрез то вперилась бы и впечатлелась в разум на все веки незабвенно».

Так Тредьяковский изображал красоту ироической пиимы, и таким языком говорили эти первые литературные толкования, в которых школьная риторика неумело старается выразить эстетические впечатления и где, однако, мы не раз встретим удачное и красивое слово, с тех пор водворившееся в литературном языке... Первым изобретателем ироической пиимы, который вместе с тем достиг в ней величайшего совершенства, был, конечно, Омир; через несколько столетий после него вторым ироическим пиитом был римлянин Марон (Виргилий), а потом почти тысячу семьсот лет не было новой ироической пиимы, когда четвертою — после Илиады, Одиссеи и Энеиды — «снабдил» общество на французском языке знаменитый Фенелон, — «да какою сею снабдил? По самой сущей правде, превосходнейшею несравненно и Первых двух, и Третьею последняя, а сие Истиною и Твердостью нравоучительного Христианского Наставления»... Тредьяковский между прочим выразил свое великое уважение к произведению Фенелона тем, что его прозу перевел своими гексаметрами: он был уверен, что его Тилемахида вполне передает все красоты подлинника, «всю оных гладкость, приятность, с самою сладостию произливает», что он угощает своих читателей, как и Фенелон, «медоточным нектаром, питием оным творческим»...

Таким образом Фенелон, несмотря на промежуток в тысячи лет, является непосредственным продолжателем Гомера и Виргилия; очевидно, их продолжал бы и русский писатель, если бы задумал эпическую поэму. Такая же прямая преемственность соединяла новую европейскую литературу с классическими и в других областях поэзии и прозы. В «Рассуждении о комедии вообще» Тредьяковский объясняет, что комедия древних греков и римлян продолжается и поныне подражанием у всех почти европейских народов, а особливо

* Он разумел вероятное украшение.

у французов: «нынешняя Европейская Комедия, на каком бы она языке ни была сочинена, и представлена, есть не что иное, как токмо она Греческая, в совершенство уже там же приведенная Комедия». Конечно, то же самое надо было разуместь о трагедии, о разных формах лирики и т. д. В результате получалось представление о полном единстве по существу между новыми литературами и их античными первообразами и затем вывод, что и новой русской литературе нет другого пути и что, перенимая свои формы в ближайших образцах (у французов и немцев), она только примыкает к одному великому целому: это соображение, очевидно, не совпадало с позднейшим обвинением писателей того века в простом подражании французам или немцам.

Как профессор элоквенции, Тредьяковский написал и «Слово о богатом, различном, искусном и несхотственном витийстве». Здесь между прочим говорил он о том, что при всем радении о природном языке должно изучать и чужие языки, между прочим латинский, «довольно и предовольно вычищенный по долговременной тьме, варварства, к общей наук способности» (он перечисляет длинный ряд ученых, начиная от Петрарки, совершавших это вычищение), но восстает против тех, которые давали ему первостепенное место: «только да не называют его благороднейшим всех прочих, а особливо каждой своего природного, сие не знаю чем угрюмым дышет, и да не приписывают толь много чести Латинскому языку, дабы думать, что все на все Учение токмо на нем состоит». Это последнее замечание могло иметь значение и в тогдашних русских условиях: на латинском языке шло, как мы видели, преподавание в духовных академиях и пока еще не было мысли подумать о «природном» языке, на чем настаивал Тредьяковский.

Оспаривая «затверделое мнение» о преимуществах латинского языка, он напоминает, что греки были некогда уверены, что только один их язык «есть и начало, и основание, и верх всех наук и знаний», и считали невозможным делом, чтобы когда-нибудь такое превосходство получил какой другой из презираемых «варварских» языков. Но потом гораздо больше греческого распространился язык латинский, овладел науками и художествами «и пребывал в силе от тех пор до наших времен, называясь общим, по крайней мере, Учеными». «Однако и сей (т. е. латинский язык), равным образом, столько ж непристойно величается сим именем: обличает его спесь Аглинской, показывает чванство его Италиянской, доносит на тщеславие его Немецкой, но сильнее всех доказывает его в том гордость Французской». Тредьяковский ожидал, что это подтвердит наконец и русский язык, «ежели сперва многие переводы с других языков и начнет, и совершит, и сим образом пословия своего сочинения вычистит, а при всем том, многия и различныя вещи именами называя, богатое изобилие слов получит». Поэтому, пусть те из на-

ших, которые знают иностранные языки («цветут искусством языков»), переводят «все, что преизряднейшее, все что полезнейшее, все, что достойнейшее в чужих языках, на ваш Российской язык; да обогащают Россию выборнейшими Книгами, да утоляют жажду во многих, которую они имеют к чтению, к получению наставления, к наслаждению разума и сердца, к приобретению не токмо большого в разуме просвещения, но, что вящшее есть, и твердейшего исправления в добродетельное сердце»... Но пусть наши ученые совершают и свои собственные труды: «всегда удивляться чужому искусству, а собственных сил не отведывать, и о собственном искусстве не стараться, знак есть незнания и лени, или, по крайней мере, ненадеяния к зделанию равного, хотя бы уж и такова, которое бы весьма мало не равнялось». Если к этому будут приложены все меры неусыпного прилежания, денно и нощно, каждым в своем деле и всеми вместе, тогда, заключает Тредьяковский, «и вы, О! дражайшие Россиане, зделаете либо еще и плодоноснейшее, и полезнейшее, и изящнейшее, и высочайшее».

Так, при первых опытах литературы сами собой являлись указания образцов, которые были тогда единственными, являлась необходимость «называть вещи именами», обогатить и «вычистить» язык, предпринимать собственные труды, которые почти равнялись бы с чужими. Забота об этом последнем действительно представлялась сама собой. Если только народу нужно было знание, если поэтому возникала литература, прежде всего являлась необходимость в запасе слов для обозначения новых вещей и понятий: старый язык, выработанный некогда «книжным почитанием», не имел этого запаса; церковно-академическая школа излагала свою науку на латинском языке, — и когда начались при Петре усиленные заимствования технического знания и стали переводиться ученые и учебные книги, получился тот странный язык Петровского времени, который для новейших любителей старины служил иногда лишним осуждением реформы, а в действительности был только лишним свидетельством старинного невежества, потому что старина не приготовила никаких средств для выражения нового содержания. Язык был испещрен церковно-славянскими оборотами рядом с самыми яркими и сильными образчиками народной речи (особенно в писаниях самого Петра) и с множеством иностранных слов, взятых в сыром виде, часто уродливых с прибавкой русской фонетики и окончаний. Дело-вые люди не заботились об этой пестроте языка, но с ней не могли помириться люди ученые: в других языках они видели уже выработанный стиль, и в особенности во французской литературе, которая достигла уже высокого совершенства языка, они видели постоянную заботу об утонченной отделке языка, его точности и вместе изяществе. Русский язык также нужно было не только обогатить, но и «вычистить», «чтобы найти для вещей русские имена, чтобы

размежевать его стихии, которые все еще оставались в книге неуравновешенными и непримиренными... По времени Тредьяковский первый поставил этот вопрос в речи «о чистоте русского языка», читанной им в 1735 году в Российском собрании, учрежденном при академии наук. Эта первая речь до крайней степени наполнена панегириками не только императрице Анне Ивановне, но и «командиру» академии*, «в мудрых мудрой, в ученых ученой, в достойных достойной Особе», а также униженным сознанием его собственных «недостатков, неспособностей и тупости ума», — но не лишена и здравых замечаний. В первый раз говорилось о деле, в котором была «великая потребность». В Российском собрании было «толь малое число» людей, которым предстоял этот труд над русским языком, что можно было сомневаться в успехе дела; но «впредь, — говорил Тредьяковский, — твердо надеюсь, малый, узкий и мелкий наш поток, наполнився посторонними струями, возрастет в превеликую, пространную, и глубокую реку... Довольно с нас ныне и сея единыя славы, что мы начинаем». И он убеждает своих сотоварищей в исполнимости предприятия. Нужны для русского языка хорошие переводы древних и новых авторов, нужна добрая и исправная грамматика, полный и довольный лексикон, реторика и стихотворная наука.

Он спрашивает своих сотоварищей: не помышляют ли они, что русский язык уже не может быть украшаем? — и отвергает это предположение тем фактом, что, по его мнению, русский язык в последнее время постоянно совершенствуется. «Посмотрите, от Петра Великого лет, на многии прошедшии годы; то размысливши увидите ясно, что совершеннейший стал в Петровы лета язык, нежели в бывшия прежде. А от Петровых лет толь отчасу приятнейшим во многих писателях становится оный, что нимало не сомневаюсь, чтоб, достославныя Анны в лета, к совершенной не пришел своей высоте и красоте». Он указывает следующие пути совершенствования языка: во-первых, двор ее величества, «в слове учтивейший и великолепнейший богатством и сиянием»; далее научат искусно говорить благоразумнейшие министры и премудрые священноначальники; затем «знатнейшее и искуснейшее благородных сословие»; наконец, и собственное рассуждение, потому что правильное употребление языка не может существовать без «идеи». Таким образом время уже приступить к составлению грамматики. Не может утратить нас составление реторики, потому что «помогут нам в ней премногии творцы Греческий и Римский, а наипаче хитрый и, слаткий в слове Марк Туллий Цицерон. Помогут Французския Балзаки, Костарды, Патрю и прочии бесчисленныи. Помогут многии преславныи Немецкии... Из основательныя Грамматики и красныя Реторики

* Это был тогда барон Корф.

не трудно произойти восхищающему сердце и разум слову Пиитическому, разве только одно сложение Стихов неправильностию своею утрудить нас может; но и то, господа, преодолеть возможно». Не выше сил человеческих составление лексикона, и вообще «труд прилежный все препобеждает». И здесь опять представляется ему пример просвещенных европейских народов. Между прочим, он так убеждает своих сотоварищей: «Первые ль мы в Европе, которым сие не токмо трудно, но почитай и весьма неприступно быть кажется? были, были таии, которыи не боясь того, но смотря на будущую из сего пользу, начали, продолжали, и некоторыи с похвалою окончили. На пример: не нетрудно было, в самом начале, Флорентийской Академии старание приложить о чистоте своего языка; приложила. Не нестрашно было, мню, предпрять также и Французской Академии, чтоб совершеннейшим учинить свойство там употребляемого диалекта; предпріяла. Невозможно, чаю, сперва казалось Леипцигскому содружеству подражать толь благоуспешно вышереченным оным Академиям, коль те начавши окончили щасливо; подражает, и подражало благополучно».

«Сложение стихов» было одним из первых предметов, на которые Тредьяковский обратил свои изучения. Уже в 1735 году, когда Ломоносов еще только отправлялся в ученье за границу, Тредьяковский издал свой «Способ к сложению российских стихов», который после исправил и дополнил. Свой исторический взгляд на этот предмет он изложил в очень любопытной по своему времени статье «О древнем, среднем и новом стихотворении российском». Выше мы упоминали о том, как он объяснял вообще происхождение поэзии, которая, по словам его, «как подражание естеству, и как истинне подобие, есть одна и таж, по свойству своему, во всех веках, и во всех местах у человеческого рода»; различна только ее форма, стих. Начало русской поэзии он объясняет так же, как начало всякой поэзии. Как вообще первыми стихотворцами были жрецы, так это было и в нашей древности: их способ и был нашим древнейшим стихотворством. «Но что за род был Стиховнаго их того состава, ныне нам видеть достоверно непочему. Не осталось нигде для нас, по крайней мере не известно нам всем поныне ни о самом малом обрасчике, оставшемся от языческаго нашего Стихотворения; истребило его наставшее благополучно Христианство». Он решается тем не менее сказать, что древнейшее стихотворство было именно тоническое, основанное на известном метре, который определяется ударением, и что оно не имело рифмы.

«На чем я, спросится, толь прямо сие утверждаю? Неподозрительными, ответствую, и живыми свидетелями. Простонародные наши, и те самые древние Песни, сие точно свойство в Стихосложении своем имеют». Как мы видели, он уже указывал на это раньше, в своем мнении о начале поэзии, и здесь объясняет это новыми

подробностями. «Народный состав Стихов, есть подлинный список с Богослужительского; доказывает сие Греческий и Римский народ; а могут доказать и все прочие, у коих Стихи в употреблении»*. Тредьяковский указывал происхождение древнего стиха совершенно правильно, потому что древнейшая народная поэзия была обрядовая, связанная с культом, как древнейший эпос также должен был иметь отношение к мифологии и опять к культу. Также верно он указывает и отношение христианства к этой древней народной поэзии: как было «в первенствующей церкви» (т. е. церкви первых веков), так и у нас церковь искореняла «многобожные служения и песенные прославления мнимым богам и богиням; однако с пренебрежения**, или за упражнением***, не коснулось к простонародным обыкновениям: оставило ему забаву общих увеселительных Песен, и с ними способ... сложения Стихов. Сие точно и есть перво-родное и природное наше, с самые отдаленные древности, Стихосложение, пребывающее и доднесь в простонародных, молодецких, и других содержаниях, Песнях живо и цело».

Таким образом, продолжает Тредьяковский, христианство, уничтожив песни в похвалу «идолам», лишило нас «без мала на шестьсот лет» богочтительного стихотворства. «Пребывало двоюродное родство его токмо, чтоб так сказать, как в залоге, у самого оно-го простого народа, в подлых его Песнях; и превосходило**** от века в век не без престарения». И хотя христианство дало нам гораздо более высокие «и по содержанию, и по сладости, и по душевной пользе» церковные песни, гимны, стихиры и двустипхи, но они были переведены прозою; поэтому у нас и распространилась проза, а стихотворство было забыто. «Ибо,— говорит он,— простонародное Стихосложение, за подлость Стихотворцев и материй, от чесных

* Он делает здесь любопытную заметку о старом церковном пении. «Сие и собственным нашим примером утверждается: ибо с двести лет, без мала, назад певали у нас в Церкви на всенощных бдениях псалом 103 так, что по окончании речи, когда напев требовал гагакания до начатия другия речи, вместо гагакания онаго употребляемы были незнаменательныя слова, а именно сии: ай, ненай, ани, ну, унани. Рано и простой народ в некоторых своих песнях, и в подобном случае, такияж употреблял незначащия ничего слова: здунинай, найна, здуни. Подлаго народа употребление сие и ныне еще слышать всякому можно; но церковное оное старинное обыкновение, видимо токмо и доднесь в Псалтири, печатанной в Вильне 1576 года, а хранящейся в Императорской Академической библиотеке». Заметим опять, что слово «подлый» в то время означало просто низший класс народа, простонародье, как слово «пошлый» еще значило только: обыкновенный, обычный (старинное выражение: «по старине и по пошлине», т. е. как пошло от старого обычая). Относительно церковного пения ср. о «хомовом» пении у Макария, Ист. русской церкви, т. XII, стр. 113.

** Из пренебрежения.

*** За другими заботами.

**** Переходило.

и саном знаменитых людей, презираемо было всеконечно; так что и поныне, но уже незнающие и суетно строптивый люди зазирают неосновательно, ежели кто народную старинную Песню приведет токмо в свидетельство на письме, хотя и с извинением в необходимости, о первоначальном нашем стихотворении». Видимо, что сам он подвергался неосновательным зазираниям; но любопытен остается факт, что первый писатель новейшего времени и той подражательной школы, которую осуждают за ненародность, является защитником народной песни от незнающих и суетно строптивых людей, основывает на этой песне новое стихосложение, которое действительно отвечало свойствам языка и утвердилось окончательно в литературе. По его представлению, презрение к народной песне очевидно шло из самых старых времен, от первых наших христианских книжников, поддерживалось последними книжниками, от которых сохранилось и «поныне».

«Среднее» стихотворство Тредьяковский считает с конца XVI века, когда первые искусственные стихи с рифмою, впрочем дурные по его мнению, напечатаны были при Острожской Библии 1581 года; затем он указывает попытку Мелетия Смотрицкого (при его грамматике, 1619 г.) ввести метрическое стихотворство по классическим образцам, попытку, которую Тредьяковский находит совершенно не отвечающей характеру русского языка (и которая осталась без продолжателей); наконец, введение силлабического стиха Тредьяковский считает с 1663 года, когда при Московской Библии явились стихи этого размера, — затем этот стих, заимствованный с польского и пришедший к нам через киевскую академию, был чрезвычайно распространен Симеоном Полоцким и другими стихотворцами конца XVII-го и первой половины XVIII века. Тредьяковский высчитывает, что силлабический стих существовал у нас 72 года, с 1663 до 1735, т. е. того года, когда он издал в первый раз свой «Способ к сложению российских стихов». Он рассказывает, что сам не вдруг пришел к этому способу; напротив, не только во время пребывания в заиконоспасской школе, но и во время путешествия (в Гаге, Париже, Гамбурге) и по возвращении в Петербург, когда он «по молодости и по французскому духу, начал себя производить в обществе некоторыми Стишками», он писал эти стишки тем же польским, силлабическим, размером; наконец, однако, он увидел, что все эти его пьесы «не состоят Стихами, выключая Рифму, но точно странными некакими прозаическими строчками», и «почувствовал и то совершенно», что это стихосложение «нам всеконечно не сродно». Подробности о составе силлабического стиха и необходимости тонического стихосложения Тредьяковский объяснил в упомянутом трактате 1735, с которого он и считает введение правильного русского стихосложения.

Мы не будем останавливаться на его собственных литературных творениях: характер их достаточно известен; нескладность их вошла в пословицу. Отметим только то, что он по мере своих сил старался вводить разные литературные формы — всех сортов оды, стихи всяких размеров, сообщая вместе с тем теоретические наставления о всех родах классической поэзии; покусился даже на трагедию, как подобает, на классический сюжет из жизни Ахиллеса. При этом последнем случае он объяснил, что, взяв «материю» из греческого баснословия, он «вымыслил от себя много нового» и оправдывает это следующим образом: «Вольность сия дана трагическим Пиитам еще от Аристотеля, а подтверждена, что до басен*, от великого Французского трагика Петра Корнелия, как словами во втором его рассуждении о драме, так и в некоторых его ж трагедиях прямым делом». Таким образом французский авторитет опять выставлен тотчас рядом с классическим.

Известно, что Тредьяковский был человек великого трудолюбия, не малой учености, особливо по своему времени; в вопросе о русском стихосложении, как и о грамматике («Разговор между чужестранным человеком и российским об орфографии старинной и новой и о всем, что принадлежит к сей материи»), за ним должна быть признана положительная заслуга — особенно в том отношении, что в век, с одной стороны, старо-книжнического, с другой — приказно-крепостнического пренебрежения к народу (которое кроме того питалось еще и новыми псевдоклассическими образцами), он не усумнился искать закона стиха в простой народной песне, наперекор «суетно-строптивым» людям.

Прискорбные личные приключения его, как гнусные насилия от «врага Бирона», Волынского, как обязанность разыграть шутовскую роль и т. п., были, между прочим, и чертой века: стихотворство было пока уделом школьного люда, и на Тредьяковском отозвалось приниженное положение этого люда, грубое самодурство старого века, а также и немалое невежество людей, причислявших себя к образованному классу. Это приниженное положение литературы, — в силу того что она существовала в тесных пределах немногочисленного круга общества и просветительные интересы были очень слабы в кругах влиятельных, — проходит через весь восемнадцатый, даже и девятнадцатый век: вспомним, что сам великий Пушкин, наша национальная гордость, начинатель новейшего периода нашей литературы, не любил являться в обществе с тем титулом, который был бы именно основанием его великого общественного значения; вспомним разговор о литературе на первых страницах «Дыма» Тургенева... Заканчивая с Тредьяковским, отметим еще одну частность, которая опять рисует положение начинающейся литературы: когда

* Т. е. античных мифов.

ему приходилось говорить об интересах литературы, об обществе, к которому она должна обращаться, он говорит не о «читателях», а об «охотниках»*: это — редкие исключения, любители вещей, которые еще не были общим интересом... Наконец, очень оригинален и исторически любопытен язык Тредьяковского. В стихах, которые ему совсем не давались, его язык груб и обыкновенно крайне уродлив; в прозе он проще, но все еще является свидетельством той борьбы, какая шла между старыми школьными приемами языка и потребностью более живой и свободной речи. Сам Тредьяковский прибавил сюда долю педантизма, но вместе с тем в складе его языка есть черты народной речи, есть не мало удачных выражений, хорошо переведенных терминов, новых оборотов, которые остались в последующем литературном языке**.

Другим усердным работником в этих первых начатках новой литературы был Сумароков. Значительно моложе Тредьяковского, он прошел и совсем другую школу. Аттестат, полученный им в Сухопутном корпусе, не указывает особенной учености; но инстинкты образования, по-видимому, были приобретены еще в семье: отец его, который дослужился до больших чинов и умер в царствование Екатерины, был, как говорят предания, человеком по своему времени образованным; по-видимому, и Сумароков, бывши в корпусе, дополнял свои науки собственным чтением, которое направилось в особенности или даже исключительно на французскую литературу. Насколько могли помочь ему ученость и поэзия Тредьяковского, трудно сказать; во всяком случае, Сумароков последовал ему в «сложении стихов»: в юности он начал еще силлабическими виршами, но бросил их потом для тонического стихосложения. Свое положение в литературе он понимал так же, как Тредьяковский: он считал себя призванным «насаждать» новую литературу по тем образцам, какие представляла в то время литература французская: это был образец, господствовавший в Европе, и другого он не знал. Сущность вопроса он понимал так же, как Тредьяковский, и как учили французские авторитеты, главным образом Буало. Поэзия началась в Греции, продолжалась в Риме, затем наступили века варварства: *enfin Malherbe vint*, и началось процветание французской

* Ср. Сочинения, в изд. Смирдина, I, стр. XXIV, 177, 433; III, обращение к читателям при «Разговоре об ортографии», и пр.

** Сочинения Тредьяковского были переизданы только однажды, в собрании Смирдина. СПб. 1849, три компактных тома. «Избранные сочинения», в издании Перевлесского. М., 1849. Наиболее подробная биография у Пекарского, «История Академии Наук», II, стр. 1–258. Об его историко-литературном значении, статьи Иринарха Введенского (перепечатана в «Русской Поэзии», Венгерова. СПб., 1893, выпуск 1) и В. Варенцова («Тредьяковский и характер нашей общественной жизни в первой половине XVIII-го столетия», «Моск. ведомости», 1860, № 36–37).

литературы, которая казалась прямым продолжением литературы классической, высшим образцом совершенства и тем примером, которому надо было последовать, чтобы дать и своему народу настоящую поэзию. Сумароков принимал это буквально, и если вообще в XVIII столетии думали, что французской литературе принадлежит высшая степень поэтического совершенства, то Сумароков полагал, что нам должно стремиться только к тому, чтобы у нас были свои российские Расины, Мольеры и Вольтеры. Ломоносову, с которым он вечно ссорился из соперничества, он предоставлял роль «наших стран Малерба» и уподоблял Пиндару, но за собой хотел иметь славу русского Расина, а иногда не уклонялся от сопоставления себя с Вольтером.

Сумароков, бесспорно, не был лишен известного дарования, но это дарование было довольно странное*. Современники были очень высокого мнения о достоинствах его произведений. К портрету его в издании Новикова приложены следующие стихи Хераскова:

Изображается потомству Сумароков
Палящий, пламенный и нужный сей Творец,
Который сам собой достиг Пермесских токов,
Ему Расин поднес и ла Фонтен венец.

В «Опыте исторического словаря о российских писателях» Новикова (1772), вышедшем еще при жизни Сумарокова, читаем следующий панегирик: «Различных родов стихотворными и прозаическими сочинениями приобрел Сумароков себе великую и бессмертную славу, не только от Россиян, но и от чужестранных Академий и славнейших Европейских писателей. И хотя первый он из Россиян начал писать трагедии по всем правилам театрального искусства; но столько успел в оных, что заслужил название северного Расина. Его Еклоги равняются знающими людьми с Виргилиевыми, и поднесь еще остались неподражаемы; а Притчи его почитаются сокровищем Российского Парнасса; и в сем роде стихотворения далеко превосходит он Федра и де ла Фонтена, славнейших в сем роде. Впрочем все его сочинения любителями Российского стихот-

* Первое издание его сочинений сделано было Новиковым: «Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе, покойного действительного статского советника, ордена Св. Анны Кавалера и Лейпцигского ученого собрания члена, Александра Петровича Сумарокова. Собраны и изданы в удовольствие любителей российской учености Николаем Новиковым, членом вольного русского собрания при императорском московском университете». М. 1781–1782, в десяти частях. Второе издание, 1787. Единственное до сих пор исследование принадлежит Н. Буличу: «Сумароков и современная ему критика». СПб. 1854; главное содержание его повторено в «Русской Поэзии», Венгерова, вып. II. Высказанное здесь представление о свойствах ума и таланта Сумарокова должно быть несколько ограничено.

ворства весьма много почитаются». Отзывы Новикова в его словаре вообще очень хвалебные, отчасти потому, что этого требовала чрезвычайная щепетильность тогдашних писателей, отчасти Новиков руководился своим патриотическим побуждением не забыть достоинства людей, трудившихся для русской литературы; в данном случае было, однако, действительно высокое представление о заслугах Сумарокова, которое любопытно для нас как свидетельство умного и просвещенного современника. И это свидетельство должно быть положено на весы при исторической оценке писателя, потому именно, что современники ближе могли видеть данное положение вещей, когда для позднейшей критики все дальнейшие успехи литературы были неизменно указателями ее предыдущих недостатков. Очевидно, и что в свое время высоко ценилась заслуга Сумарокова в установлении новых литературных форм, хотя для позднейшего историка не может быть даже вопроса о сопоставлении его с французскими писателями, которых он только слабо копировал. У Сумарокова была большая восприимчивость: он вошел во вкус французской литературы, умел понять ее красоты, торопился пересказать их на русском языке, но у него не было тени самостоятельного таланта, а иногда недоставало и простой рассудительности. Став на эту точку зрения, что французская литература есть именно прямое продолжение литературы античной и представляет единственную возможную форму поэтического создания, он употребил все свои усилия, чтобы дать русской литературе всевозможные разновидности литературного творчества в стихах и прозе, какие находил у французов. Он не рискнул только на эпопею, но затем он дал все формы лирики — оды духовные и торжественные, переложения псалмов, эклоги, элегии, песни, даже «любовную гадательную книжку»; сатиры, басни и притчи; трагедии, комедии, драмы, оперы и пр.; наконец он хотел быть грамматиком, критиком, историком, писал похвальные слова и торжественные речи и т. д. Так как он должен был быть российским Расином и Мольером, то для своих трагедий он выбирал русские сюжеты и не только из далекой древности, как в его первой трагедии «Хорев», но и из более близкой старины, как в «Димитрии Самозванце», но к своим русским героям он прилагал те же шаблоны французской трагедии; в комедиях он хотел изображать русские нравы, но в постановке пьес ясно сквозят французские образцы, которые к русской жизни бывали неприложимы. Много раз были указаны странности его драматургии, из которой довольно, напр., напомнить «Димитрия Самозванца». С первой сцены этой трагедии ее герой в беседе с своим наперсником, который старается его образумить, сам указывает на свое тиранство:

Зла фурия во мне смятенно сердце гложет;
Злодейская душа спокойна быть не может.

Во втором действии, когда он предвидит падение своей власти, он уже видит себя в аду:

Во преисподнюю зрю мрачные степени,
И вижу в тартаре мучительские тени:
Уже в геенне я и в пламени горю.

Но в четвертом действии, в разговоре с Ксенией, он опять заявляет:

Хочу тираном быть: все хвалят добродетель;
На свете коей нет, чему весь мир свидетель;
Не устрашает ад, колико ни грозит.

В самом конце трагедии, когда народное восстание грозит Димитрию смертью и не остается надежды на спасение, Димитрий восклицает следующее:

Ступай душа во ад и буди вечно пленна!

(Ударяет себя в грудь кинжалом и издыхая падающий в руки стражей:)

Ах, если бы со мной погибла вся вселенна!

Таков он в течение всей пьесы. Очевидно, это кукла, долженствующая изображать тиранство и постоянно об этом напоминающая, чтобы читатели этого не забыли. Но вообще Сумароков повторяет свои образцы со всеми их внешними особенностями и трагическим содержанием, с длинными речами героев и наперсников и т. п.; в этом риторском стихотворстве он повторяет также и те общие мысли, какие встречается в псевдоклассической литературе, о необходимости просвещения, о достоинствах добродетели, об управлении государством на пользу подданных, о благоразумной свободе и т. п. Изобразив тирана в Димитрии Самозванце, он не однажды останавливается и на идеале мудрого, добродетельного правителя, как, например, в трагедии «Мстислав», где этот князь говорит:

А я перестая быть горестей содетель.
Цвети под скипетром Мстислава добродетель!
Я должности одной хочу себя предать,
И без утех любви народом управлять,
Предписывать ему полезные уставы.
Ликуйте подданны во дни моей державы!
Я буду вам отец, вы будьте чада мне,
Свободны, веселы живуще в сей стране.
Никто не трепещи под областью моею!
Я милости к одним злодеям не имею.

Таковы и его последние слова в трагедии, где он осуждает тиранов и восхваляет праведных монархов.

Но, как ни бросаются в глаза недостатки этих и всех других творений Сумарокова, их слава между современниками достаточно объясняется условиями их первого появления: они были первым примером правильной, по тогдашним понятиям, трагедии после школьных драм, которые им предшествовали, и без сомнения были выше этих драм и постройкой пьесы, и языком*; тонический размер должен был казаться несравненно изящнее старых силлабических вирш; кроме того, трагедии Сумарокова послужили материалом для первой русской сцены, где в лице Волкова и Дмитриевского явились невиданные до тех пор сценические таланты.

Начавши действовать во времена Анны Ивановны, Сумароков дожил до середины царствования Екатерины. Французская литература, которую знали прежде немногие любители, находила в русском обществе все больше читателей и поклонников, и Сумароков тем больше убеждался, что оказал великую заслугу русскому Парнасу, следуя по стопам Расина. Под конец жизни ему пришлось увидеть, что сама французская литература вступает на иные пути, и он пришел в великое негодование, когда и на русский язык переведена была пьеса Бомарше «Евгения», где являлся новый род драмы, выходящий из пределов условной классической трагедии. Это была так называемая *comédie* или *drame larmoyante*, которая после Дидро и Бомарше завоевала себе место на французской сцене и с тех пор открыла путь к новому более широкому развитию драматической литературы. Сумароков не понимал этой драмы и считал ее самым непозволительным нарушением классического предания. Когда «Евгения» была не только переведена, но и дана на сцене в Москве, Сумароков поднял тревогу и писал в предисловии к изданному вскоре после того «Димитрию Самозванцу», восставши и против пьесы, и против переводчика, и против московской публики; даже написал против этой новой драмы к Вольтеру. «Людовик дал Парнасу золотой век во своем отечестве,— говорил он, — но по смерти его вкус мало-помалу стал исчезать. Не исчез еще; ибо видим мы одного остатка в г. Вольтере и во других французских писателях. Трагедии и Комедии во Франции пишут; но не видно еще ни Вольтера, ни Мольера. Ввелся новый и пакостный род слезных комедий: ввелся там; но там не исторгнутся семена вкуса Расинова и Мольерова: а у нас Театру почти еще и начала нет; так такой скаредной вкус, а особливо веку Великия Екатерины не принадлежит. А дабы не впустить одного, писал я о таковых Драмах к г. Вольтеру: но они в сие краткое время вползли уже в Москву, не смея появиться в Петербурге:

* Сумароков припоминает однажды (в забавном рассказе «о думном дьяке, который с меня взял пятьдесят рублей»): «я бывал на комедиях, смотрел Александра и Людвига, Париж и Вену и другие комедии» (Сочин. 1-е изд., VI, стр. 380). Эти комедии, заимствованные из рукописных повестей, не упомянуты у Морозова (Ист. русск. театра, гл. VIII).

нашли всенародную похвалу и рукоплескание, как скаредно ни переведена Евгения, и как нагло Актриса под именем Евгении Бакханту ни изображала: а сие рукоплескание Переводчик оныя Драмы, какой-то подъячий, до небес возносит, соплетая зрителям похвалу и утверждая вкус их. Подъячий стал судиею Парнаса, и утвердителем вкуса Московской публики!.. конечно скоро преставление света будет. Но не уже ли Москва более поверит подъячему, нежели г. Вольтеру и мне: и не уже ли вкус жителей Московских сходнее со вкусом сево подъячева!»

Не однажды цитировалось следующее за этим язвительное изображение московской публики, где высказывается, с одной стороны, его собственное авторское самолюбие, оскорбленное недостатком внимания к его творению, а с другой — негодование против того, что публика еще не научилась ценить серьезных интересов сцены. Предварительно он объясняет, что такое публика. «Слово Публика, как негде и г. Вольтер изъясняется, не знаменует целого общества; но часть малую онаго: то есть людей знающих и вкус имеющих... В Париже, как известно, невежд не мало, как и везде; ибо вселенная по большей части ими наполнена. Слово Чернь принадлежит низкому народу... У нас сие имя всем тем дается, которые не дворяне. Дворянин! великая важность! Разумный священник и проповедник Величества Божьего, или кратко Богослов, Естествослов, Астроном, Ритор, Живописец, Скульптор, Архитект и протч. по сему глупому положению члены черни. О, несносная дворянская гордость, достойная презрения и поругания! Истинная чернь суть невежды, хотя бы они и великие чины имели, богатство Крезово, и влекли бы свой род от Зевса и Юноны, которых никогда не бывало; от сына Филиппова победителя или паче разорителя вселенные, от Июлия Цесаря утвердившего славу Римскую, или паче разрушившего оную. Слово Публика и тамо, где гораздо много ученых людей, не значит ни чево». Возвращаясь к «подъячему», который осмелился переводить «Евгению» Бомарше*, Сумароков пишет: «Подъячему соплетать похвалы вкуса Княжичей и Господичей московских, толь маломестно, коль непристойно лакею, хотя и придворному мои песни, без моей воли, портить, печатать и продавать, или против воли еще пребывающего в жизни автора портить ево Драмы, и за порчу собирать себе деньги** или съезжавшимися видеть Семиру, сидеть возле самого оркестра и грызть орехи, и думать, что когда за вход заплачены деньги в позорище, можно в Партере в кулачки биться, а в Ложках рассказывать истории своей

* Это был некто Николай Пушников, служивший у гр. К. Г. Разумовского, как он упоминает сам в посвящении перевода своему начальнику.

** Очевидно, намек на какие-то случаи с его творениями. Ср. статью «О копиях», т. VI, стр. 391 и д. (1-е изд.).

недели громогласно, и грызть орехи; можно и дома грызть орехи: а публиковать газеты весьма малонужныя, можно и вне Театра; ибо таковыя газетчики к тому довольно времени имеют. Многия в Москве зрители и зрительницы не для того на позорищи ездят, дабы им слышать ненужныя им газеты: а грызение орехов не приносит удовольствия, ни зрителям разумным, ни актерам, ни трудившемуся во удовольствие Публики автору: ево служба награждения, а не наказания достойна. Вы путешественники, бывшия в Париже и в Лондоне скажите! грызут ли там во время представления Драмы орехи; и когда представление в пущем жаре своем, секут ли поссорившихся между собою пьяных кучеров, ко тревоге всего партера, лож и театра».

Его высокое мнение о значении его творений высказалось в следующих словах, которые рисуют также и его представление о новом периоде русской литературы, где он приписывал себе столь важную роль. «Что только видели Афины и видит Париж, и что они по долгом увидели времени, ты ныне то вдруг Россия старанием моим увидала. В то самое время, в которое возник, приведен и в совершенство, в России, Театр твой, Мельпомена! все я преодолел трудности, все преодолел препятствия. На конец видите вы, любезныя мои согражданин, что ни сочинения мои, ни Актеры вам стыда не приносят, и до чего в Германии многими Стихотворцами не достигли, до того я один, и в такое время, в которое у нас Науки словесныя только начинаются, и наш язык едва чиститься начал, одним своим пером достигнуть мог. Лейпциг и Париж вы тому свидетели, сколько единой моей Трагедии скорый перевод чести мне зделал! Лейпцигское ученое собрание удостоило меня своим Членом, а в Париже вознесли мое имя в Чужестранном журнале, колико возможно»*.

Так глубоко заблуждался Сумароков в своем простодушном неведении о действительных отношениях литератур. Он был уверен, что новая русская литература, где он считал себя основателем русской драмы, именно продолжает, через Париж, традицию самих Афин**. Он не замечал, что его трагедии — только ученическая копия с французских, и полагал, что он сделал их совсем национальными, надававши их героям такие «русские» имена: Бурновей, Наступ, Любочест, Станобой, Осад, Светима, Привета и т. п. Но уже и в то время не все в это верили, и Ломоносов не выносил его самомнения и его поэзии, которую называл «рифмичеством».

У Сумарокова были, без сомнения, примеры более прямого и живого отношения к действительности; это указывают особенно в его

* Сочинения VI, стр. 391–392.

** Он пишет в другом месте: «...Когда воссияло Российское солнце и мрак невежества рассыпало, когда возшел на престол Петр Великий, тогда пологий Невский брег стал горою Геликоном, и Невские струи струями Иппокрены». Там же, стр. 338.

сатирах и баснях, к которым надо прибавить еще разные мелкие статьи, касавшиеся современной жизни. Он действительно бывал здесь остроумен и язвителен, когда попадал на любимые темы, к которым принадлежал особенно «приказный род», а также дворянская спесь, соединявшаяся с невежеством; современники считали особенной заслугой Сумарокова его сатирические обличения*, а историки литературы не без основания находят, что этими своими произведениями Сумароков открывал путь явившимся вскоре сатирическим журналам и самому Фонвизину**.

Мы остановимся дальше на отношении Сумарокова к частным вопросам литературы и литературного языка и заметим опять, что правильная историческая оценка деятельности его, так же как его современников, не должна забыть тех условий, в которых эта деятельность начиналась и о которых он вспоминал однажды так: «...Стихотворцев у нас еще не было и научиться было не у ково. Я будто сквозь дремучий лес, сокрывающий от очей моих жилище Муз, без проводника проходил, и хотя я много должен Расину, но его увидел я уже тогда, как вышел из сего леса, и когда уже Парнасская гора предъявилася взору моему. Но Расин Француз и в Русском языке мне дать наставления не мог. Русским языком и чистотою склада, ни Стихов, ни Прозы, не должен я ни кому кроме себя»...***

Действительно, первым писателям новой литературы приходилось очень часто идти ощупью, руководиться инстинктом; старая письменность не давала им опоры. Самый сильный из них по уму, дарованиям и знанию был Ломоносов, которому и принадлежит наиболее могущественное влияние в создании новой русской литературы. Мы перейдем теперь к обзору его деятельности.

II

*Изучения Ломоносова.— Склад понятий в обществе.— Основной смысл деятельности Ломоносова*****

Ломоносов, как мы сказали, был самым крупным лицом во всей нашей литературе XVIII века. Его значение чувствовали, хотя и не вполне сознавали, его современники и ближайшее потомство:

* Мы читаем в «Драматическом Словаре», М., 1787, предуведомление: «Паче всего заслуживает бессмертие омерзение к ябеде, чему конечно ликующий склад стихов его притчина; не пощеголяет никто ныне, как прежде, десятилетней тяжбой, которую помощью стряпчего мог продолжать; а до его ополчения на подъячих, ставили в старину дворяне честию, будучи добрые люди, что проворством поверенного тянет виноватое дело четверть века, хвалясь притом, что ему Секретари в судах знакомы».

** Ср. Булича, «Сумароков», стр. 191–193.

*** Сочинения, изд. 1-е, т. IX, стр. 309–310.

**** См. выше: март, стр. 295.

в нем уважали первого русского ученого, который мог с полным правом стоять на ряду с тогдашними учеными европейскими; но, несомненно, еще больше почитали в нем простодушно российского Пиндара, пожалуй, Гомера или «российских стран Малерба»; последующие поколения, ограничивая его славу, как поэта, признавали в нем великие заслуги в образовании русского литературного языка, в заботах о распространении науки, в пламенном патриотизме, приписывали ему (весьма преувеличенно) самостоятельное научное творчество и т. д.; по словам Пушкина, он был «первым нашим университетом». Все эти заслуги в различной, но, во всяком случае, высокой степени принадлежат Ломоносову; но чтобы определить самую глубокую историческую его черту, ее должно указать, в его целом мировоззрении, которое впервые водворяло у нас истинный смысл просвещения в том объеме, в каком оно было приобретено тогда усилиями европейской науки. Если придавать преобразованиям Петра решающее значение в новом повороте нашей гражданской и умственной жизни, то Ломоносов впервые дал этим преобразованиям тот глубокий внутренний смысл, при котором они могли стать действительно новым периодом в развитии русской мысли. В самом деле, для того, чтобы умственная и нравственная жизнь русского народа могли вступить на более широкий простор из их прежней средневековой ограниченности, еще недостаточно было всех тех великих нововведений, какие были произведены Петром во внешней жизни государства; недостаточно было тех забот об основании школ, о расширении старого «книжного почитания» новыми сведениями из новейшей европейской науки, до сих пор не слыханными и расширявшими тесный горизонт старого книжничества; недостаточно было прямо выставлять учения новой науки, хотя бы пугавшие и приводившие в негодование суеверов старого века (как учение Коперника); недостаточно было даже так решительно отвергать старое невежество, как это было сделано, например, в «Духовном Регламенте», — все это было отголоском новой европейской мысли, отвергшей Средние века, но все эти нововведения вступали в жизнь как бы механически, становясь рядом с ее прежним содержанием, отвергая в нем, что было в нем совершенно устарелого, но не указывая ясно того общего начала, на котором впредь могло и должно было быть построено органически новое мировоззрение: нужно было уразуметь и указать это новое начало, и это сделано было Ломоносовым. Государственное преобразование в той широкой форме, какую давала ему гениальная деятельность самого Петра, заключало в себе могущественные возбуждения к созданию этого нового мировоззрения; но как самое преобразование, притом рано прерванное, поглощено было насущными практическими нуждами, так и самое дело было слишком ново, чтобы одновременно сделан был и другой важный шаг национального развития. Нужно

было, чтобы эти общие возбуждения реформы нашли опору в более широком научном воспитании, чем то, какое могло быть получено в едва возникавшей русской школе; чтобы родился новый могущественный ум, который был бы в силах усвоить научную мысль во всей ее широте и внести ее — по крайней мере, насколько было возможно — в умственную жизнь русского общества: таким человеком и явился Ломоносов. Его деятельность была блистательным результатом и оправданием реформы, а вместе и ее необходимым дополнением. Если имел великое значение тот общий факт, что с эпохой Петра в русском образовании (каковы бы ни были его размеры) введены были авторитетом власти элементы науки светской, до тех пор неведомой и, однако, отрицаемой, введены взамен старой исключительной и односторонней схоластики, то с деятельностью Ломоносова в этой светской науке впервые указан был глубокий смысл ее, как основы нового мировоззрения, которое должно было в первый раз сменить систему средневекового легендарного мировоззрения.

Как мы видели это относительно водворения новых литературных форм, которое велось очень медленно, в сущности на пространстве двух-трех поколений, так и здесь, в более глубоком вопросе самого содержания новых идей, движение шло чрезвычайно медленно: тот новый склад понятий, который заявляла светская наука, при своем первом появлении высказывался только чрезвычайно отрывочно, как бы только подразумевался в книгах исторических, географических, астрономических, какие переводились при Петре, и, конечно, только в таком же отрывочном виде усваивался более образованными людьми того времени: вещи, по существу противоречивые, укладывались в головах рядом, не заявляя о своем противоречии; новое понятие принималось поверхностно, вызывая только элементарные выводы и не увлекая мысли к дальнейшему его развитию и применению; мысль могла созреть лишь с известной постепенностью. С основанием академии наук в среде русского общества был внезапно вдвинут целый круг западных ученых людей, с которым оно не имело ничего общего. Иностранная наука тотчас начала свои труды, между прочим над вопросами практического изучения России, но приемы ее были русским людям незнакомы, ученые сочинения писались по-латыни, частью по-немецки или по-французски, и на русском языке невозможно было даже передать их содержания по недостатку научно-логического языка и технической терминологии. Заметим мимоходом, что по этому поводу высказывалось не мало обвинений и против Петра, и против самой академии, которая являлась в Петербурге таким же чуждым растением, как могла бы явиться в Пекине. Очевидно, однако, что иначе нельзя было и поступить: приходилось призывать науку в лице ее чужеземным представителей и от них

невозможно было бы требовать, чтобы они тотчас превратились в русских,— притом всего чаще их призывали в Россию по контрактам только на известное время; нужно было только заботиться, чтобы они имели русских учеников и научали их, с тем, чтобы через некоторое время могли образоваться русские ученые. Так об этом и думал Петр Великий, и вскоре при академии наук была действительно устроена гимназия, т. е. курсы приготовительного характера, а затем и университет, питомцы которого выходили в адъюнкты академии; на первое время чужеземная наука на чужеземных языках стояла как бы только подле русской литературы, или даже русской письменности, и когда уже в первое время делались попытки передавать эту ученость на русском языке, то получались уродливые переводы, совершенно невразумительные для тех, кто был бы не в состоянии читать самого подлинника. Первые русские ученые могли образоваться только прямо под руководством профессоров иноземцев или просто за границей: так учился Тредьяковский в Париже; так Ломоносов, только что вызванный из Славяно-греко-латинской академии, был послан за границу, где и прошел собственно правильную школу под руководством знаменитого в те времена Христиана Вольфа. Прочный корень науки мог быть положен только тогда, когда ее содержание было бы принято не на веру, не из подражания, не под давлением чужого авторитета, а самостоятельно продумано и усвоено сильным умом, способным к независимому исследованию, и вошло в его собственную умственную природу. В первый раз это сделано было Ломоносовым, и в этом была его великая заслуга и залог его обширного влияния в течение XVIII века, и его историческое значение в русской литературе.

Это историческое значение Ломоносова до сих пор с точностью не определено. В течение XVIII века, можно сказать, почти с первых его трудов по возвращении из-за границы, он пользовался великим авторитетом, который при его жизни возрастал с каждым новым трудом в области науки и литературы, так что имя его становилось как бы нарицательным именем великого ученого и, наконец, окружено было славой, к которой почти не осмеливалась прикасаться критика. Сочинения его несколько раз издавались в течение XVIII века и в начале XIX-го, явились потом в известном собрании Смирдина, позднее одна доля их повторена была в сборниках «избранных сочинений», и только в последние годы предпринято обширное академическое издание, о котором скажем далее. Но историческое изучение его двигалось очень медленно и прежде всего сделано было историками литературы относительно его собственно литературных произведений: и здесь слава Ломоносова долго оставалась неприкосновенной, и только со времен Пушкина и потом Белинского стало высказываться более критическое отношение

к размерам его поэтической заслуги. Но его заслуги научные и самая биография оставались все еще мало выяснены: специалисты только изредка касались его ученых трудов (как в тридцатых годах Перевошиков); биография могла быть разработана только по архивным документам академии наук, которые, по старому обычаю, могли быть доступны только с трудом. Но целый ряд исследований был возбужден столетней памятью смерти Ломоносова: с 1865 года появляется целый ряд более или менее замечательных трудов, посвященных как его биографии, так и определению различных сторон его деятельности.

«Столетняя годовщина дня рождения знаменитого писателя, — говорит Пекарский, заканчивая биографию Ломоносова, — прошла незамеченною; но зато о нем вспомнили по случаю приближения ста лет после кончины его: 4 апреля 1865 года во многих местах России отправлялись торжества, посвященные воспоминаниям о Ломоносове. Кроме обедов с речами и стихами, было сделано тогда несколько и полезных дел: учреждены стипендии в разных учебных заведениях; основано училище в селении, где родился Ломоносов; установлена премия в награду за лучшее ученое сочинение по наукам, которым посвящал себя наш академик; объявлен конкурс на составление жизнеописаний Ломоносова: одно, которое бы удовлетворяло строгим научным требованиям, другое — доступное пониманию народа. Наконец, плодотворным последствием Ломоносовского юбилея следует также считать обнаружение в тогдашнее время в значительном количестве рукописных источников для его жизнеописания и вообще появление в печати разысканий о деятельности и сочинениях его. То правда, что ближайшее знакомство с тем, что стало известно о Ломоносове после его юбилея, неминуемо ведет к признанию неверными и преувеличенными взглядов того кружка, голоса из которого громче всех раздавались на Ломоносовском юбилее. Таким образом не подтверждается мнение, что Ломоносов сделал в области естественных наук великие открытия, будто бы оставшиеся неизвестными до нашего времени только по равнодушию русских к отечественным гениям. Нашлось также не мало опровержений тому, чтобы великий наш писатель был постоянно тесним и угнетаем, отчего будто бы он и не успел осуществить все задуманное им. При всей гениальности и необыкновенных дарованиях, у Ломоносова, как у всякого человека, были свои слабости, недостатки, и они вредили ему в жизни не менее его врагов».

Юбилей не только вызвал в данную минуту несколько замечательных трудов о Ломоносове, но вообще указал важность исторического вопроса, и действительно с тех пор определение его биографии и исторического значения становится на прочную почву фактического изучения. Таковы были издания материалов и исследования

гг. Куника, Билярского, Ламанского, Будиловича, Пекарского, Любимова и др.*

Наконец новый богатый материал для объяснения Ломоносова должно доставить обширное академическое издание сочинений Ломоносова (до сих пор два тома), обставленное подробными, иногда даже чересчур, примечаниями, где собраны варианты к различным сочинениям Ломоносова по его рукописям и прежним изданиям, указаны исторические обстоятельства, при которых эти произведения возникали, отмечены и приведены иногда целиком иностранные произведения, которым подражал Ломоносов или из которых что-либо заимствовал, объяснены литературные черты содержания и стиля и т. д. Для будущего биографа и литературно-исторического исследователя это издание доставляет богатый источник справок.

Мы должны предположить известной биографию Ломоносова и остановимся в ней лишь на некоторых чертах, которые были или считались особенно важными для определения его характера. В юбилейной литературе Ломоносов в особенности был изображаем как чисто русский национальный деятель науки, человек из народа, потому враг немцев, один защищавший против них интересы русского образования: он был таков именно потому, что был «помор»... Несомненно, что в общем счете условий, которыми определяется

* Литература о Ломоносове собрана была библиографически Пономаревым и Межовым; главный биографический материал указан Пекарским при биографии Ломоносова. За последнее время особенного внимания заслуживают следующие книги:

— Сборник материалов для истории имп. Академии наук в XVIII веке. Издал А. Куник. 2 части. СПб., 1865.

— П. Билярский. Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865.

— Ломоносов и петербургская Академия наук. Материалы к столетней памяти его 1765–1865 года, апреля 4-го дня. Сообщил В. И. Ламанский. Москва, 1865.

— Пекарский. Дополнительные известия для биографии Ломоносова. СПб. 1865.

— А. Будилович. М. В. Ломоносов, как натуралист и философ. С приложениями, содержащими материалы для объяснения его сочинений по теории языка и словесности. СПб., 1869; — Ломоносов как писатель. Сборник материалов для рассмотрения авторской деятельности Ломоносова. I. Указатель хронологической последовательности учено-литературных работ Ломоносова. II. Особенности его языка и стиля. III. Размер и характер его научных средств. IV. Отрывки неизданных сочинений Ломоносова. СПб., 1871.

— Пекарский. История Академии наук, т. II. СПб., 1873, стр. 259–963, наиболее полная, хотя только внешняя, биография Ломоносова, где приняты во внимание все ранее известные материалы, а также введены и некоторые новые архивные данные.

— Жизнь и труды Ломоносова, с приложением его портрета, исполненного гелиотипиею. Часть первая. Н. Любимова. М., 1872. (Второй части не было).

— Соловьев. Ист. России. Т. XXII. Изд. 2-е. М., 1880, стр. 274 и д.

окончательно исторический склад характера, весьма важны бывают условия первоначальной среды, дающие первый толчок пробуждающейся мысли, первую складку нравственной и умственной природы. Не безразлично было поэтому то обстоятельство, что Ломоносов был уроженец края с энергическим трудовым населением, с преданиями свободного крестьянства, не знавшего крепостной зависимости, наконец с воспоминаниями о недавних пребываниях в этом крае Петра Великого. Родиной Ломоносова была, по словам Соловьева, «поморская или беломорская страна, пустынная, холодная, но прилегавшая к морю, которое принадлежало Европе, на котором появлялся европейский корабль. Сюда явился очень скоро молодой преобразователь, жаждавший моря; эта страна впервые почувствовала прикосновение его сильной руки. Страна, народонаселение которой давно привыкло к трудной и опасной, развивающей силы, деятельности, давно привыкло к тем явлениям, которые стояли теперь на очереди, сильно потребовались, эта страна наполнилась новым духом, новым движением; кто-то сильный, необыкновенный явился, пришел, оставил неизгладимые следы, порастил воображение, овладел памятью народа. Всюду для людей чутких, исполненных силы, слышались слова: “Иди за мной, время наступило!” Под такими впечатлениями богатырского времени Новой России воспитывался одаренный великою духовною силою сын холмогорского рыбака... Работа с отцом, морские плавания и промыслы, укрепляя его физические силы, делали из него богатыря и телом. Богатырь не усидит в отцовском доме; его тянет на подвиг, а подвиг новой, преобразованной России — не разминать в степи плечо богатырское, а развивать ум наукою в школе». Главное было, однако, в том, что этот сын рыбака одарен был великою духовною силою. Люди, ставшие великими поклонниками Петра и исполнителями поставленных им задач в области просвещения и гражданской жизни, выходили из всех стран России, из всех слоев общества и из всех поколений, которых коснулась его эпоха: это был и подмосковный крестьянин Посошков, человек старого века, и московский боярин Татищев, и малоросс Прокопович, и молдавский аристократ Кантемир; все они работали для одной цели русского просвещения по мере своих сил, по размерам своего понимания,— но именно у Ломоносова эти размеры были необычны. Поэтому его служение русскому просвещению получило такую широту, какой до него еще не было видано и которая доставила ему господствующее положение. Ему помогли природные задатки его физической и умственной силы, но направление этих сил уже не зависало от специального места его родины: прошло почти двести лет со времени его рождения, и его родина не дала другого человека, который представлял бы хотя отдаленное подобие этой силы ума и характера.

То содержание, к которому направилась умственная работа Ломоносова, было именно содержание тогдашней европейской науки. Новые исследования не оправдывают предположения или утверждения его крайних панегиристов, что он намечал особые, национальные пути науки; специалисты приходят к убеждению, что он был, без сомнения, сильный логический ум, остроумный и оригинальный наблюдатель, но, — быть может, вследствие слишком разбросанной его деятельности (к чему он был вынуждаем и самыми обстоятельствами), — он не занял в науке своего времени первенствующего и руководящего положения; вместе с тем он сам не думал вовсе выделять из этой целой науки какое-нибудь особое, специальное, национальное направление. Как дальше увидим, наука, напротив, казалась ему единым целым, общечеловеческим достоянием, и он стремился только к тому, чтобы это достояние было усвоено и русскими умами, обогащалось потом и их участием в общем труде. Для этой «западной» науки, которую он считал общечеловеческою, было у него одно только противоположение — мрак невежества, одинаково и невежества иноземного и русского. Останавливаясь на этом вопросе исторической заслуги Ломоносова, его биограф, натуралист, замечает: «...труды Ломоносова были скорее образчики трудов, чем труды, доведенные до конца. Но именно в том обстоятельстве, что, несмотря на свои несовершенства, труды эти могут быть, по справедливости, признаны трудами самостоятельного мастера, в этом полном равенстве первого русского академика с современными ему представителями европейской науки и заключается великое для нас значение Ломоносова как первого русского ученого. Нет ничего фальшивее стремления выискивать в Ломоносове представителя русской науки и русской цивилизации, как чего-то особого от науки и цивилизации “запада”, иною мерою измеряемого, иному миру принадлежащего. Ничто так не противоречит всему характеру деятельности Ломоносова, всему духу Петровского преобразования, как такое стремление противопоставлять русское европейскому, вместо того, чтобы противопоставлять его французскому, английскому или германскому, на равном праве в европейской семье... Истинное значение Ломоносова, как ученого, в том, что он был первым русским ученым в европейском смысле, живым оправданием замысла Петра ввести Россию, как равного члена, в семью европейских народов. Ломоносов был ученый в том же смысле, как его знаменитые учителя и его талантливые товарищи. Заслуги Ломоносова достаточно велики, они не нуждаются ни в преувеличении, ни в фальшивом освещении»*.

Тот же биограф находит фальшивым и другое стремление — изобразить Ломоносова «непонятым, неоцененным и изнемогающим

* Любимов, стр. 189 и далее.

в борьбе с завистью и недоброжелательством академиков-немцев, свивших будто бы себе теплое гнездо в Петербурге и старающихся повредить делу русского просвещения». На этот раз обвинители академиков-немцев были не совсем неправы, потому что деятельность таких людей, как Шумахер или Тауберт, представляла действительно поводы к справедливому негодованию Ломоносова, несомненно ближе принимавшего к сердцу интересы русского просвещения, тогда как на другой стороне гораздо больше, если не исключительно, имелась в виду только личная выгода. Но с другой стороны, во-первых, сам Ломоносов был не из таких людей, которые давали себя в обиду, как сейчас увидим, а во-вторых, едва ли не самая большая вина раздоров в среде академии лежала в ее общем неустройстве, причиною которого были сами русские люди. Действительно, история академии за большую половину ее существования в XVIII веке поражает обилием раздоров и непорядков, происходивших от крайней неопределенности ее общего положения. Академия была в русском обществе совершенно новым учреждением, к которому как будто бы сама власть не знала как относиться. Ее члены были в первое время иностранцы, почти исключительно приглашаемые только на известный срок по контрактам; их наука была делом совсем неведомым и их ученые требования должны были приниматься на веру, потому что некому было о них судить; само внешнее управление было неопределенно, потому что академией распоряжались и президент, и двор, и сенат; вместе с тем с академией надо было обращаться бережно, она была необходима, потому что, за редкостью настоящих ученых людей, на членов академии вваливали исполнение самых разнородных дел: на их попечение были ученые экспедиции для описания России, что считалось необходимым по разным соображениям; они должны были заниматься «инвенциями» в своих науках и поддерживать славу петербургской академии в ученом мире для блеска империи; к ним обращались за сведениями в деловых вопросах, где требовалось специальное значение; они должны были наблюдать за учебными учреждениями, и иногда приходилось им, в случае надобности, быть высшими экзаменаторами для питомцев других заведений; они должны были издавать ученые и общепользные книги (из последних, напр., календарь); наконец, они же, особенно русские академики, должны были поставлять торжественные речи и стихотворные произведения, им приказывалось сочинять не только оды, но и трагедии, переводить либретто для придворных спектаклей, писать стихи или надписи на иллюминации, фейерверки и т. п. За учеными людьми признавалась некоторая привилегия их особой службы, непонятной для людей обыкновенных, но вместе с тем в администрации академии господствовал нередко настоящий хаос, где лица, к ней принадлежащие, не могли разобраться в своих правах и взаимных отношениях. Надо думать, что, если бы жил

Петр, этот внутренний распорядок установился бы так или иначе, потому что он сам заинтересован был делом; но после него, в течение целых десятков лет, не было ни настоящего интереса к истинным задачам академии, ни понимания того, как может быть правильно устроена внутренняя жизнь ученого учреждения. При господствующих нравах должно было кончиться тем, что академические дела окажутся в руках ловкого человека, который сумеет ладить с влиятельными людьми: таким человеком оказался действительно Шумахер... В среду этого хаоса и попал Ломоносов при своем вступлении в академию. Понятно, что в академических непорядках виноваты были не одни немцы, но и те русские люди, которые не умели упрочить правильного существования ученого учреждения: при Елизавете президентом академии был человек русский, гр. К. Г. Разумовский, правою рукою его в академических делах был другой русский, Теплов, а перед тем, когда в 1742 году, вследствие жалоб, поданных от многих лиц в самой академии на Шумахера, учреждена была особая следственная комиссия, во главе ее стоял опять русский человек, адмирал гр. Головин, а одним из главных действующих лиц был другой русский человек, президент коммерц-коллегии, князь Юсупов. Попал под следствие и только что перед тем вступивший в академию Ломоносов и очутился в числе «колодников комиссии»...

Как мы сказали, Ломоносов несомненно предан был пользам русской науки, но, к сожалению, его способ действий был таков, что он нередко или сам давал против себя оружие своим врагам, или, когда уже пользовался в академии большим авторитетом, не умел оставаться в границах справедливости... По возвращении из-за границы он нашел академию в том состоянии беспорядка, о котором мы говорили; он пристал к Нартову, хотевшему защищать интересы академии против Шумахера: в академии уже не было «Петром Великим выписанных славных людей»; они уехали, как все говорили, от Шумахера, а их места заняли люди, к которым он не имел уважения. Ломоносов стал бывать «шумен», а в таких случаях он бывал весьма беспокоен. «Нам тяжело теперь говорить о пороке, — замечает Соловьев, — которому был подвержен Ломоносов, о тех поступках, которые были следствием его шумства, но мы знаем, что современники смотрели на это шумство и беспорядки, от него происходившие, гораздо снисходительнее. Французские писатели середины XVII века с радостью отзываются, что пьянство вывелось у них в высших кругах и предоставлено низшим. Германия, отстававшая в это время от Франции во всех других отношениях, отстала и в этом...» Но в этом «шуму» Ломоносов творил вещи весьма жестокие. В 1742 году на него жаловался академический садовник Штурм: «Пришед ко мне в горницу и говорил, какие нечестивые гости у меня сидят, что епанчу его украли, на что ему отвечивал бывший у меня в гостях лекарь Брашке, что ему, Ломоносову, непотребных речей

не надлежит говорить при честных людях, за что он его в голову ударил, и схватя болван, на чем парики вешают, и почал всех бить и слуге своему приказывал бить всех до смерти (!), и выскочив я из окон и почал караул звать, и пришед я назад, застал я гостей своих на улице битых, и жену свою прибитую», и проч.* Полиция забрала Ломоносова и, как адъютанта академии, отослала в академию; но так как это случилось именно в то время, когда шло в упомянутой комиссии следение по жалобам на Шумахера и академией правил Нартов, то эта история кончилась для Ломоносова без последствий. Затем, однако, произошла другая. В следующем году сам Ломоносов был привлечен к допросу в комиссию по жалобе профессоров академии. Они писали: «Сего 1743 года апреля 26 дня пред полуднем он Ломоносов в противность всем честным и разумным поступкам, напившись пьян, приходил с крайнею наглостью и бесчинством в ту палату, где профессеры для конференций заседают и в которой в то время профессорского собрания хотя и не было, однакож находился там при архиве конференции профессор Винсгейм и при нем были канцеляристы... Ломоносов, не поздравивши никого и не скинув шляпы (как бы ему по учтивству сделать надлежало), мимо их прошел в географической департамент, где рисуют ландкарты, а идучи около профессорского стола, ругаясь оному профессору, остановился и весьма неприличным образом бесчестной и крайне поносной знак самым подлым и бесстыдным образом руками против них сделал**, пошел в оной географической департамент... В том департаменте, где он шляпы так же не скинул, поносил он профессора Винсгейма и всех прочих профессоров многими бранными и ругательными словами, называя их плутами и другими скверными словами, чего и писать стыдно... Сверх того грозил он профессору Винсгейму, будучи еще в той же палате, ругая его всякою скверною бранью, что де он ему зубы поправит, а советника Шумахера при том называл вором. Вышед из географического департамента, пришел возвратно в конференцию... и всех профессоров бранил скверными и ругательными словами и ворами называл, за то что ему от профессорского собрания отказали, и повторяя оную брань неоднократно сказывал с великим бесчинством и посмеянием, чтоб то в журнал записал». Профессоры просили приказать арестовать Ломоносова «и рассмотря показанное нам от него несносное бесчестие и неслыханное ругательство повелеть учинить недлежащую праведную сатисфакцию, без чего академия более состоять не может, потому что ежели нам в таком поругании и бесчестии остаться, то никто из иностранных государств впредь на убылые места приехать не захочет, так же и мы себя за недостойных признавать должны будем, без возвращения чести

* См. подробности этой баталии у Билярского, стр. 9–14.

** Т. е. показав кукиш.

нашей, служить ее имп. велич. при академии, понеже во всех государствах, где есть академии, такого ругательного примера, как нам случилось, не бывало». Призванный в комиссию, Ломоносов и здесь не унялся, на вопросы комиссии «он Ломоносов сказать: я де по пустому ответственность не буду и надо мною главную имеет команду академия, а не комиссия, и надлежит де ево требовать от академии, а без того в допрос не пойдет и ничего де со мною комиссия сделать не может. И сверх того пред присудствием кричал он, Ломоносов, неучтиво и смеялся»...* За это, однако, он был арестован и оставался при комиссии «колодником», по-видимому, от июня 1743 до января 1744 года, когда последовала по этому делу резолюция сената**. Она была очень мягкая: Ломоносов был освобожден от наказания «ради его довольного обучения», велено было выдавать ему только половинное жалованье, но через несколько месяцев велено было по высочайшему указу выдавать ему прежнее жалованье.

Сенатская резолюция очень любопытна, как свидетельство о самом положении науки и литературы: в самом сенате (надо, впрочем, думать, не без отголосков от двора) сказалось уважение к человеку, который был тогда единственным сильным представителем науки из русских; в нем берегли ее надежду в будущем, — хотя все-таки долго держали колодником. Быть может, еще больше ценили в нем стихотворца: за время своего заключения Ломоносов не забыл придворных торжеств, и его оды производили большое впечатление...

Таким образом характер был вовсе не таков, чтобы Ломоносова можно было представлять угнетаемым защитником интересов русской науки в академии. Можно скорее пожалеть, что все условия положения русской науки были крайне неблагоприятны по непониманию или равнодушию к истинным пользам русской науки в тех сферах, от которых зависало обеспечить ее положение***. Можно пожалеть, что Ломоносов не направлял своей энергии в защиту русских интересов более целесообразно: драки, ругательства, поправление зубов и самые кукиши немецким академикам не могли означать успехов русской науки (впоследствии еще на сотню лет академия все-таки не обходилась без выписных немцев), и при таких нравах академия действительно «не могла состоять». Можно пожалеть, что желание господствовать в академии и необузданность характера

* Там же, стр. 33 и далее.

** У Пекарского это изложено не совсем ясно.

*** Между прочим, даже просто хозяйственное. Однажды случилось, что Ломоносову «на пропитание» выдано было из академии, вместо жалованья, на 80 рублей книгами. В другой раз мы читаем, что в 1749 году Татищев, желавший, чтобы Ломоносов написал к его Истории посвящение вел. кн. Петру Федоровичу, послал ему в подарок 10 рублей. «Он им очень доволен, — писал к Татищеву Шумахер, — и следующий понедельник будет сам благодарить за то». *Пекарский*, стр. 416.

помешали установиться здравым отношениям Ломоносова с двумя немецкими академиками, которые оказали тогда и после великие заслуги для русской науки, именно для русской историографии. Это были Шлёцер и Миллер. Ни тот, ни другой тоже не были уступчивого характера, и особенно раздор Ломоносова с Миллером был несомненно вреден для успехов едва возникавшего исторического знания. Те неправильности, в которых Ломоносов обвинял Миллера, могли быть, как ученое мнение, предметом специальной критики, а не предметом обвинения в политическом недоброжелательстве, могли быть найдены неудобными в официальной речи, но не достойными осуждения по существу. Громадный исторический труд, совершенный Миллером в течение его жизни, остается лучшим оправданием Миллера против обличений, которыми осыпал его Ломоносов; таким же образом Ломоносов, который не мог не видеть исключительных дарований Шлёцера и сам признавал их, никак не хотел допустить его занятий русской историей из-за опасения его «иностранизма», «худого характера» и возможных с его стороны «заношливых» речей о России, не предвидел, что этот самый Шлёцер станет для русских исследователей учителем исторической критики.

Эта вражда к немцам изображается обыкновенно как особая патристическая заслуга, хотя, быть может, иногда преувеличенная; но эти преувеличения были настоящей и печальной ошибкой.

Дело в том, что пока не исполнились надежды Ломоносова, что русская земля будет рождать собственных Платонов и Невтонов, русские научные силы были до крайности скудны и, в серьезном смысле слова, в те годы ограничивались одним Ломоносовым. Только собственная бедность заставила обращаться к иноземным учителям, и мелочная, грубая война с ними нисколько не помогала делу русского просвещения; надо было заботиться только о том, чтобы их ученость шла больше на пользу их русским питомцам и чтобы в русском обществе укреплялось уважение к науке, водворению которого вовсе не помогали упомянутые баталии. А в укреплении уважения к науке такие немцы, как Миллер или Шлёцер, могли бы быть для Ломоносова именно чрезвычайно полезными союзниками, а не врагами, какими он их делал. Из позднейших отзывов, например Шлёцера, можно видеть, что хотя способ действий Ломоносова и оставил в немецком ученом известное враждебное чувство, но все не помешало признанию его высоких достоинств, на почве которых было бы возможно их совместное действие на пользу русской науки.

Для объяснения этих отношений, где европейское образование встречалось почти впервые лицом к лицу с умственными запросами русского общества и где в русском обществе в первый раз являлась профессия ученого человека и писателя, надо вспомнить вообще,

как относилось это общество к науке и литературе и их представителям. Это отношение было двойственное. С одной стороны, люди, несколько чуткие к умственным интересам и несколько приготовленные к их уразумению, находили удовольствие в новой литературе, чувствовали почтение к начинавшим появляться русским ученым трудам — в этих трудах виделось отражение, собственный опыт в той науке европейской, о которой много слышали, хотя мало знали и к которой питали инстинктивное, как бы ребячески суеверное уважение. Под влиянием знакомства с европейскими нравами, особенно при посредстве двора и заезжих иностранцев, и по воспоминаниям о трудах Петра начинали думать, что литература (хотя бы на первый раз в виде торжественной оды и придворного спектакля с русскими пьесами) и наука (хотя бы в виде академии из иностранцев с двумя, тремя русскими членами, с учеными работами на латинском языке, а иногда и на русском) служат к украшению двора и даже к национальной славе: приятно было думать, что мы и в этом не уступаем иноземцам, между которыми заняли такое блистательное положение во внешней политике. Эта черта национального самодовольства встретится нам беспрестанно, когда мы будем следить за понятиями тогдашних людей о русской литературе и науке. Очень редко встретится мысль, что литература нужна для общества, масса которого находится в состоянии грубейшего невежества, но гораздо чаще, даже постоянно, встречается самодовольная мысль, что мы сравнились с Европой, что мы не уступим иностранцам, и так как наша литература ставилась в непосредственную связь с классической и новоевропейской, особенно французской, то достоинства нашей литературы указывались не в какой-либо черте ее внутреннего содержания, а в сравнении: писатель, произведший несколько од в искусственном стиле высокопарным языком, был уже готовым Пиндаром; другой, накропавший несколько трагедий в рабском подражании французской драме, считался, и даже простодушно сам считал себя, российским Расином, а кстати и Вольтером; затем нашлись российские Гомеры, Лафонтены и т. д. Цель казалась достигнутой. Самим российским Вольтерам не приходила в голову мысль, что, не говоря о классической литературе, в самой, ближе знакомой литературе французской, кроме од и трагедий, есть еще нечто другое — есть глубокое научное содержание, есть работа философской и общественной мысли, которая была результатом многовековой истории, и что в конце концов сравнение выходило чистым ребячеством: из этого богатства западной умственной жизни к нам доходили только отдельные отрывки, как эпизод и анекдот, не связанный с нашей собственной историей и потому принимаемый поверхностно и отрывочно... Но в глубине этого общества еще в полной силе была ветхая старина. Как некогда более высокий умственный интерес жил только

в небольшом кругу людей, так это было и теперь. Литература и наука, начинавшиеся теперь в соприкосновении с Европой, были еще так новы и школа еще так мало к ним подготавливала, что литература действительно могла казаться «Фруктами и Конфектами на богатый стол по твердых кушаньях», и притом только «на богатый стол», как писал Тредьяковский, а наука должна была казаться, конечно, делом полезным в разных практических случаях, но в существе своем была громадному большинству или совершенно неизвестна, или представлялась пустым умствованием, или, наконец, казалась вещью «душевредительной», как полагал о некоторых науках один из образованнейших людей своего времени, Татищев... Ученые люди были в редкость. Это бывали, например, или такие высокопоставленные духовные лица, как Феофан Прокопович, или иностранцы, которым издавна полагалось быть «хитрыми» в разных науках, или, наконец, такие выученики духовных академий, которые почти исключительно состояли из людей низшего звания, по-тогдашнему «мизирных», которые не могли претендовать на какую-нибудь роль среди людей высшего круга. Это представление в значительной мере, или сполна, было перенесено на новых писателей, которые выступили на сцену в тридцатых и сороковых годах XVIII века. Это делалось само собою. Новые писатели с своими торжественными одами и иным риторическим стихотворством, которое можно было заказывать, прямо сменяли прежних академических школьников, и в высших кругах думали, что их можно ставить на одну доску: нередко их и действительно можно было ставить на одну доску. Таким образом в то самое время, когда новые писатели воображали себя российскими Расинами и Вольтерами, в высшем кругу, где все-таки собиралось некоторое образование, на них смотрели весьма пренебрежительно, как на людей, занимающихся пустяками. В противоположность этому сами писатели были о себе очень высокого мнения, и справедливо замечено было, что, например, самохвальство Сумарокова, которое бросается в глаза своей безмерностью, могло быть не излишним для того, чтобы указывать невеждам достоинство литературы и литературного труда. Тем не менее известно, что хотя Сумароков был старый дворянин и довольно чиновный человек, а Ломоносов был ученый академик, уважаемый и при дворе, такой меценат, как Шувалов, находил, как говорят, потеху в том, чтобы стравливать их между собой в роли домашних шутов, какие тогда были в моде. Известное меценатство XVIII века, которое, впрочем, не было на деле особенно щедро и поощряло только писание торжественных од, к чему и находило множество охотников, не свидетельствовало, конечно, о высоком уровне литературы. Рядом с этим меценатством возможны были и такие факты, как гнусное избиение Тредьяковского Волинским. Заметим, впрочем, что этот последний случай

указывает не только приниженное состояние литературы, но вообще страшную грубость нравов того века. Волынский был человек необузданный и бил не только таких незначительных людей, как Тредьяковский*. Так было при Анне Ивановне; но так же бывало и при Елизавете. Известный Порошин в своих записках передает (под 1764 годом) рассказы Никиты Ивановича Панина об одном генерале, который между прочим «рассуждал, какие недотыки ныне люди стали, нельзя выбранить, а бывало-де палочьем дуют, дуют, да и слова сказать не смеешь»; а гр. Чернышев передавал, «в какой чрезвычайной силе был тогда (при императрице Елизавете) граф Алексей Григорьич; граф Петр Иванович Шувалов всегда ездил с ним в Москве на охоту, и гр. Мавра Егоровна молебны пела по возвращении их, что Петр Иванович батожем от него не сечен. Алексей Григорьич весьма неспокоен бывал пьяный»**. Не удивительно, что при таких обычаях и Ломоносов мог возыметь желание «поправлять зубы» своим немецким коллегам... Но если тогдашнее меценатство важных господ сопровождалось унижением писателей, то и между ними находились люди, которые именно во имя своего литературного значения держали себя весьма независимо. Таков был, например, Сумароков, который воевал даже с московским главнокомандующим; таков был и Ломоносов, и у него эта независимость была еще тем более замечательна, что он был человек, по-тогдашнему, «подлого рода», чем попрекал его даже Тредьяковский. Много раз цитировано было знаменитое письмо его к Шувалову (в январе 1761 года), который хотел мирить его с Сумароковым. Несмотря на все почтение, какое имел он к своему покровителю, Ломоносов читает ему серьезный урок: «Никто в жизни меня больше не изобидел, как ваше высокопревосходительство. Призвали вы меня

* Гр. Салтыков предостерегал однажды Волынского об его самоуправстве: «Я ведаю, что друзей вам почти нет и никто с добродетелью об имени вашем и упомянуть не хочет. На кого осердишься, велишь бить при себе и сам из своих рук бьешь: что в том хорошего? Всех на себя озлобишь». Впоследствии, когда совершался суд над Волынским, по делу Тредьяковского его винили не в том, что он бил Тредьяковского, а в том, что бил его во дворе, в покоях Бирона, «и тем оказал неуважение к государыне, а ему, владельческому герцогу, нанес чувствительную обиду, уже известную и при иностранных дворах».

** Прибавим еще черту нравов тогдашнего высшего общества. «После стола, — рассказывает опять Порошин, — разговорились о временах при покойной государыне императрице. Никита Иванович рассказывал о банках, которые граф Алексей Григорьич Разумовский делывал и нарочно проигрывал; как у него Настасья Михайловна и другие из банку крадывали деньги, и после щедрость его в надлежащем месте выхваляли, да не только такие Настасьи Михайловны, но и люди со всем безважные притом пользовались. За князем Иваном Васильевичем один раз подметили, что тысячи полторы в шляпе перетаскал, и в сенях отдавал слуге своему». «Записки». СПб. 1844, стр. 69–72.

сегодня к себе. Я думал, может быть какое-нибудь обрадование будет по моим справедливым прошениям... Вдруг слышу: помирись с Сумароковым! т. е. сделай смех и позор!.. Свяжись с тем человеком, который ничего другого не говорит, как только всех бранит, себя хвалит, и бедное свое рифмичество выше всего человеческого знания ставит... Не хотя вас оскорбить отказом при многих кавалерах, показал я вам послушание... Ваше высокопревосходительство, имея ныне случай служить отечеству спомоществованием в науках, можете лутчия дела производить, нежели меня мирить с Сумароковым. Зла ему не желаю. Мстить за обиды и не думаю... А с таким человеком обхождения иметь не могу и не хочу, который все прочие знания позорит, которых и духу не смыслит... Не токмо у стола знатных господ, или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который мне дал смысл, пока разве отнимет»*.

Кроме этой внешней бесправности литературы была еще более глубокая бесправность внутренняя. Под новыми европейскими влияниями, которые хотя медленно, но постоянно расширялись, должно было возникать представление об известном самостоятельном значении литературы: ее содержание должно было представлять самостоятельную мысль человека ученого и самостоятельное произведение поэта. К этому представлению могли приходить уже те, кто еще в конце XVII века схоластически знакомился с классической литературой древних; тем больше это представление должно было распространяться теперь, когда возрастало знакомство с литературами европейскими. Действительно, на первых шагах нашей новой литературы, питомец академической гимназии и Феофана, Кантемир, с одной стороны, переводит книгу Фонтенеля «О множестве миров», представлявшую свободное научное мнение о вопросах, которые считались в понятиях громадного большинства подлежащими исключительному ведению богословия, а с другой — является сатириком, т. е. в качестве поэта свободным наблюдателем и судьей недостатков общественной жизни, в том числе недостатков официального учительного сословия. Вы видели, что эти опыты были поддержаны литературными нововведениями Петра, научными изданиями его времени, с одной стороны, и Духовным Регламентом — с другой: сам Петр, конечно, в известных пределах, но несравненно шире, чем было когда-нибудь прежде, смотрел на право науки объяснять явления природы и истории и специально не любил представителей старого учительного сословия, как заведомых обскурантов, и это послужило тогда сильной опорой для тех, чья мысль направлялась в область научных исследований. Но уже на этом первом примере, на трудах Кантемира и даже раньше на самых книгах

* Пекарский, II, стр. 718–719.

Петровского времени оказалось, что не так легко миновать исторический разлад, какой заключался в отношениях нового направления с прежним. В сущности, здесь встречались уже два совершенно противоположных мировоззрения. Старина даже не помышляла о возможности возыметь какую-нибудь мысль о природе, о судьбах мира и человека вне писания и отеческих творений или, по крайней мере, вне схоластического богословия; она не имела также понятия о каком-либо праве личной поэзии, кроме разве торжественного стихотворства. Противоречие сказалось и на деле: перевод Фонтенеля был напечатан, но впоследствии подвергся запрещению; сатиры Кантемира напечатаны были лет через двадцать по смерти писателя и когда успели сильно постареть и по содержанию, и особенно по языку. Книги Петровского времени, как мы видели, вызвали тогда же отчаянные изобличения, которые писались Аврамовым, но представляли взгляд целого круга заклятых противников реформы и защитников доброго старого неведения: по их убеждению, как и следовало ожидать, новые учения были непосредственным делом исконного врага человеческого рода, дьявола... Несчастный Аврамов еще жил, когда была в полном разгаре деятельность Ломоносова: если бы он мог вполне развить свои протесты, то к обличениям Коперника, Гюенса, Фонтенеля и Феофана Прокоповича мог бы присоединить и обличения Ломоносова. Как увидим, нашлись, однако, другие люди, которые это и исполнили...

В своем введении к «Истории Академии наук» Пекарский остановился, между прочим, на этой трудности, с которой должна была, так или иначе, встретиться ученая деятельность академии; он назвал этот отдел так: «о затруднениях, встречающихся в старину для представителей некоторых наук в Академии высказывать добытые ими истины в современном обществе». В действительности, этих «некоторых» наук было очень много, и если «затруднения, т. е. формальные обвинения в нечестии и колебании законов, встречались не на каждом шагу, то лишь потому, что академические ученые заняты были обыкновенно специальными, даже чисто техническими вопросами и очень редко касались общих оснований науки и даже прямо этого избегали, чувствуя, что «в современном обществе», слишком невежественном, это было немыслимо и опасно, и, пожалуй, бесполезно...

Когда при первом вызове иностранных ученых в предположенную академию, между прочим, усиленно приглашали Христиана Вольфа, знаменитый философ в числе всяких отговорок (климат, другая пища и пр.) упомянул, наконец, следующее, очевидно самое существенное (в 1722 г.): «Кроме того, еще один главный вопрос: должен ли я приниматься за осуществление моих мыслей касательно наук только в той степени, в какой будет это угодно современным русским? В таком случае я, может быть, буду вынужден оставить

без осуществления то, что здесь, в настоящем моем положении, осуществил бы»... Его уверяли из России, что Петербург, в отношении просвещения, не уступит никакому германскому городу (!), но Вольф в конце концов уклонился от приглашения... В петербургской академии процветала безобидная математика, но речь Делиля, в которой утвердительно решался вопрос, вертится земля или нет, нашли в 1728 году невозможным напечатать по-русски. Книга Фонтенеля, в переводе Кантемира, могла быть напечатана только с разрешения высшего начальства, но потом все-таки подверглась запрещению. Как увидим, с подобными «затруднениями», касавшимися, очевидно, самого существа и возможности науки, пришлось ведаться и Ломоносову.

Далее, если не легко было управиться с вопросами о природе и миротворении, то на целые десятки лет утвердилось в официальном кругу, между прочим в высшем управлении самой академии, представление, что известные истины, добываемые научными исследованиями, составляют государственную тайну. «Так,— замечает Пекарский,— обвинения астронома Делиля в сообщении за границу астрономических наблюдений доходили даже до сената (!), а между тем известно*, что достоверность и полезность подобных наблюдений получается именно чрез сравнение того, что наблюдается астрономами в разных землях». Между прочим, такие затруднения делали и такие лица, которые по самому своему положению должны были бы содействовать ученым исследованиям, а именно сам тогдашний президент академии, барон Корф, тот самый, которого Тредьяковский изображал в «мудрых мудрой, в ученых ученой, в достойных достойной Особой». Эта Особа рассудила, что «не без опасности есть, ежели что в Российском государстве какие описания или известия учинятся, а в иностранные государства чрез некие виды произнесутся, а о том еще не опубликовано, о чем и указами запрещается», а потому президента академии приказал «в государственную иностранных дел, в военную, адмиралтейскую и коммерц-коллегии и в канцелярию главной артиллерии и фортификации и от строений послать промемории», чтобы из этих коллегий и канцелярий «какие в которой имеются, а именно разные провинциальные описания, известия, книги, ландкарты и прочее по вопросам академии наук профессорам и адъюнктам ни под каким видом отпущены бы не были, разве по письменному требованию академии наук из канцелярии».

По вероятному предположению Пекарского, известный ученый Байер (первый начинатель норманской теории происхождения Руси), изучавший, между прочим, и китайский язык, не хотел

* Это указывал сам Делиль в объяснениях сенату против обвинений Шумахера.

тратить времени на изучение русского языка, потому что, потратив на это время, «не мог быть уверен в том, чтобы это знание когда-нибудь ему пригодилось, так как занятие в те времена русскою историею для русских сопряжено было не только с трудностями, но и опасностями». Но Байер убедил заняться изучением русского языка Миллера, тогда еще молодого человека, и известно, какую тревогу возбудила речь, предположенная Миллером для произнесения в торжественном собрании академии под названием «Происхождение народа и имени российского: Миллер едва не был обвинен в политическом преступлении. К сожалению, в этих обвинениях против Миллера принял участие и Ломоносов, который всю свою жизнь относился к нему крайне враждебно, считая его недостаточным патриотом*. Он утверждал, что в каждом произведении Миллера «множество пустоши и нередко досадительной и для России предосудительной»; везде он «всеваает, по обычаю своему, занозливые речи» и «больше всего высматривает пятна на одежде российского тела, проходя многие истинные ее украшения». Ломоносову не нравилось и то, что Миллер занимался исследованиями о «смутных временах Годунова и Расстриги — самой мрачной части российской истории». В 1761 году Ломоносов собрал эти обвинения в особой статье, посланной им к президенту академии, а может быть, и к другим лицам, и, вероятно, не без связи с этим Миллер вскоре после того получил «жестокий выговор» от высшего правительства за «некоторые в его сочинениях о российской истории находящиеся непристойности». Миллеру оставалось прервать свои занятия русской историей. Раньше ему подобным образом пришлось отказаться от своих планов издавать старые летописи и другие материалы по русской истории: ему возражали, что для такого издания необходимо «очистить» летописи от «басней» (т. е. лишить их всякого исторического смысла), а кроме того, замечали, что в старых известиях говорится, между прочим, о делах государственных, а их следует выдать только министрам и сенату. Был с ним и другой случай. В 1746 году он дал известному собирателю сведений о Петре Великом, Крекшину, рукопись с своими выписками из иностранных писателей о России, другими словами, сделал большое одолжение человеку, давши ему результаты своего собственного труда. Отсюда произошло следующее. «Крекшин, когда услышал, что Миллер дал неодобрительный отзыв о составленном им родословии великих князей, царей и императоров, захотел отомстить ему, а потому донес сенату, что академик в одной из своих рукописей делает выписки, унижительные для русских великих князей. Дело рассматривалось, по распоряжению сената, в академии наук, и назначенная там комиссия оправдала Миллера,

* Миллер уже принял тогда российское подданство.

почему Крекшин намеревался уличить в государственном преступлении и его, и членов комиссии, однако дело в сенате было оставлено без последствий»*.

Указанные здесь факты относятся к периоду от двадцатых до шестидесятых годов XVIII века; подобное этому повторялось и после, — в несколько измененной форме переходя и в XIX столетие. Факты этого рода, между прочим, являются весьма осязательным опровержением и доныне повторяющихся утверждений о том, как «петербургский период» оторвался от старых преданий и бросился навстречу чужим нравам и образованию. В другом месте мы собрали указания о том, как, напротив, тесно связан был XVIII век с XVII, как отголоски последнего беспрестанно отзывались и в жизни, и в литературе и как, с другой стороны, нововведения, которые мы привыкли ставить на счет исключительно XVIII веку, на деле имели свой корень еще в старине допетровской... Так и здесь, не требует особых объяснений, что «затруднения, встречавшиеся (по выражению Пекарского) в старину для представителей некоторых наук, высказывать добытые ими истины в современном обществе», были вполне преданием XVII века, и живым олицетворением этих преданий был тогда Аврамов, представлявший собою целый обширный стан озлобленных или наивных обскурантов. Очевидно, на почве того же старого предания стояли и упомянутые официальные (разных ведомств) противники академического плана издания летописей. Крайняя недоверчивость и подозрительность к тому, как бы не явились в печати, особливо иностранной, какие-нибудь сведения о России, которые не «опубликованы» (а опубликовать не торопились), даже безразличные сведения исторические, географические, наконец и астрономические; серьезные рассуждения об этом в сенате и синоде; распоряжения самого президента академии, чтобы без разрешения «канцелярии» не выдавались из других ведомств никакие «описания» даже самим академикам, — все это было прямым продолжением приказной опасливости московских времен, когда страшно боялись, чтобы иностранцы не узнали

* Ср. Пекарского, Ист. Акад. наук. I, стр. LXIII и далее, 343, 380 и др. Между прочим, чрезвычайно характерно заключение синода, к которому сенат препроводил упомянутое предположение академии об издании летописей: «Рассуждаемо было (в синоде), что в академии затевают истории печатать, в чем бумагу и прочий кошт терять будут напрасно, понеже во оных писаны лжи явственные... отчего в народе может произойти не без соблазна... А из приложенного для аппробации видится, что их будет не мало; к тому же иное и внести в них не должно. И если напечатаны, чтобы были многие в покупке того охотники, безнадежно, понеже и штиль един воспящать будет. А хотя бы некоторые к покупке охоту и возымели, то первому тому покупке учиня, до последующих весьма не приступят. Того ради не безопасно, дабы не принеслось от того казенному капиталу какова ущерба». Последнее, пожалуй, могло бы быть не забота синода.

чего-нибудь о России, когда окружали строгим надзором иностранные посольства и т. п. Семнадцатый век еще не имел таких учебных затей, как перевод книги Фонтенеля, как издание летописей или «описаний» и т. п., но несомненно, что старые московские приказы или патриарх Иоаким отнеслись бы к этим вещам совершенно так же, как сенат и синод, и президент академии середины прошлого века, или, наоборот, последние поступали так же, как их предшественники московских времен. В таком смутном состоянии понятий начиналась деятельность Ломоносова. Это был первый настоящий ученый человек в области естествознания, явившийся в русском обществе,— ученый, для которого наука была не одной технической выучкой, не отрывочным специальным знанием, беззаботным о логическом развитии своих оснований, а, напротив, знанием, освещенным философской мыслью, которое становилось поэтому целым мировоззрением. Именно в этом смысле он первый вносил в умственную жизнь русского общества и в русскую литературу великое благотворное начало, которое одно могло стать основой дальнейшего здорового развития в той же области знания, и в области самой поэзии,— начало сознательной работы мысли, которая уже тем самым становилась любовью к просвещению и стремлением служить этим просвещением своему обществу и народу. Не виной самого Ломоносова было то, что, как сожалеют его историки, он не имел достойных учеников, что его труд не нашел непосредственных достойных подражателей: эти первые шаги русской науки, как мы видели, были обставлены такими дикими условиями, что это одно достаточно объясняет, почему не явилось такого продолжения*. Но деятельность Ломоносова имела несомненно свое более широкое продолжение: она осталась великим заветом, нравственным и умственным возбуждением для дальнейших деятелей, и история, разъясняя сложные и часто невидные простому глазу пути развития, найдет в позднейших проявлениях умственной и общественной жизни продолжение той самой идеи, которой некогда служил Ломоносов. Деятельность его бросала свет научного сознания на то реальное, но иногда еще слишком внешнее, инстинктивное преобразование, какое совершено было Петром Великим: оно было, без сомнения, первой необходимой основой для его собственного труда; оно было первой ступенью для науки, как и для новой государственной жизни России,— Ломоносов глубже, чем кто-нибудь прежде, сознавал это, и отсюда его безграничное поклонение памяти Петра Великого.

* Указывают, правда, что толчок, данный Ломоносовым, произвел потом целый ряд замечательных естествоиспытателей, как, например, Румовский, Иноходцев, Лепехин, Озерецковский, Севергин и др. (*Будилович*, «Ломоносов как натуралист и филолог», стр. 60–61); но эти ученые отчасти образовались в другой школе, а с другой стороны, ни один из них не отличался тою широтою научного мировоззрения, какую мы видим в Ломоносове.

Ломоносов не усумнился называть Петра творцом России, божеством ее — и делал это, конечно, не в одном только риторическом порыве: он был в этом убежден. Великое значение Петра состояло для него не в том только, что он возвысил Россию, как государство, но, быть может, еще более в том, что он открыл для русского народа ту область науки, с помощью которой человек только и может достигнуть высоты своего умственного и нравственного достоинства. Это возвышенное представление о науке в первый раз было высказано на русском языке Ломоносовым, и в этом была основная господствующая черта того нового мировоззрения, которое должно было стать содержанием нового периода умственной жизни русского общества: с этим наступал последний конец наших Средних веков.

Что мысль Ломоносова в области науки не ограничивалась его специальными исследованиями в химии, физике, металлургии и пр., можно заключать из самого склада его ума, который постоянно искал общих оснований; это доказывается планами его работ, которые стали известны теперь по его бумагам: его многие годы занимала система натуральной философии, которой ему не удалось закончить; наконец, он несколько раз возвращается к вопросу о науке в своих академических речах: частный предмет, о котором он говорил, не однажды побуждал его обращаться к великим трудам и задачам целого человеческого знания. Слушатели, к которым он обращался, представляли ту странную и пеструю среду, какою вообще было общество середины XVIII века: несколько ученых людей из со товарищей по академии (иногда по своему «иностраниству» и не понимавших его русской речи), а главное, люди из высшего и среднего круга — в большинстве с крайне поверхностным образованием, для которых подобные рассуждения были делом совершенно новым и тем более нужным, что между ними было, без сомнения, не мало людей не весьма расположенных к этим новым наукам.

Речи Ломоносова очень замечательны и по своему чисто литературному достоинству, как опыт общедоступного изложения серьезных научных предметов, остающегося, однако, на высоте научного достоинства. Надо представить себе указанный характер его слушателей, т. е. общий уровень тогдашней публики, чтобы оценить, как были тогда новы мысли Ломоносова о науке и как была мужественна защита ее достоинств: он снисходит к понятиям своих слушателей, но и требует от них великого почтения к трудам людей, соорудивших здание науки.

В начале своего «Слова о происхождении света» (1756) он говорит:

«Испытание натуры трудно, Слушатели, однако приятно, полезно, свято. Чем больше таинства ее разум постигает, тем вящее увеселение чувствует сердце. Чем далее рачение наше в оной про-

стирается, тем обильнее собираем плоды для потребностей житейских. Чем глубже до самых причин толь чудных дел проникает рассуждение, тем яснее показывается непостижимый всего бытия Строитель... Сии беспрестанные и молний несравненно быстрейшие, но кроткие и благоприятные вестники Творческого о прочих тварях промысла, освещая, согревая и оживляя оныя, не токмо в человеческом разуме, но и в бессловесных, кажется, животных возбуждают некоторое божественное воображение. Что ж о таковом безмерном Света Океане представлять себе те должны, которые во внутреннее натуры святилище взирают любопытным оком, и посредством того же света большую часть других естественных таинств усердствуют постигнуть? Свидетельствуют многочисленные их сочинения в разных народах, в разные веки свету сообщенные. Много препятствий неутомимые испытатели преодолели, и следующих по себе труды облегчили: разгнали мрачные тучи, и чистое небо далече проникли. Но как чувственное око прямо на солнце смотреть не может, так и зрение рассуждения притупляется, исследуя причины происхождения Света и разделения его на разные цветы. Что ж нам, оставить ли надежду? Отступить ли от труда? Отдаться ли в отчаяние о успехах? Никак! разве явиться желаем нерадивыми, и подвига толиких в испытании натуры Героев недостойными? Посмотрим, коль великую громаду материи на сие дело они собрали, или как о древних сказывают исполинах, гору великую воздвигли, дерзая приближаться к источнику толикого сияния, толикого цветов великолепия. Взойдем на высоту за ними без страха; наступим на сильные их плечи, и поднявшись выше всякого мрака предупрежденных мыслей, устремим, сколько возможно, остроумия и рассуждения очи, для испытания причин происхождения Света».

В «Слове о пользе химии» (1751), он говорит о великих приобретениях, которые доставила человеку наука:

«Рассуждая о благополучии жития человеческого, Слушатели, не нахожу того совершеннее, как ежели кто приятными и беспорочными трудами пользу приносит. Ничто на земли смертному выше и благороднее дано быть не может, как упражнение, в котором красота и важность, отнимая чувство тягостного труда, некоторою сладостию ободряет, которое никого не оскорбляя, увеселяет неповинное сердце, и умножая других удовольствие, благодарностью оных возбуждает совершенную радость. Такое приятное, беспорочное и полезное упражнение, где способнее, как в учении, сыскать можно? В нем открывается красота многообразных вещей и удивительная различность действий и свойств, чудным искусством и порядком от Всевышнего устроенных и расположенных. Им обогащающейся никого не обидит, за тем, что неистощимое и всем обще подлежащее сокровище себе приобретает. В нем труды свои полагающий не токмо себе, но и целому обществу, а иногда и всему роду

человеческому пользою служит. Все сие коль справедливо, и коль много учение остроумием и трудами тщательных людей блаженство жития нашего умножает, ясно показывает состояние Европейских жителей, снесенное со скитающимися в степях Американских. Представьте разность обоих в мыслях ваших. Представьте, что один человек немногие нужнейшие в жизни вещи всегда пред ним обращающиеся, только назвать умеет; другой не токмо всего, что земля, воздух и воды рождают, не токмо всего, что искусство произвело чрез многие веки, имена, свойства и достоинства языком изъясняет; но и чувствам нашим отнюдь неподверженные понятия ясно и живо словом изображает. Один выше числа перстов своих в счет происходить не умеет; другой не токмо чрез величину тягость без весу, чрез тягость величину без меры познавает, не токмо на земли неприступных вещей расстояние издалека показать может; но и небесных светил ужасные отдаления, обширную огромность, быстротекущее движение и на всякое мгновение ока переменное положение определяет. Один лет своей жизни, или краткого веку детей своих показать не знает; другой не токмо прошедших времен многообразные и почти бесчисленные приключения в натуре и в обществах бывшие, по летам и месяцам располагает; но и многие будущие точно предвозвещает. Один думая, что за лесом, в котором он родился, небо с землею соединилось, страшного зверя, или большое дерево за божество толь малого своего мира почитает; другой, представляя себе великое пространство, хитрое строение и красоту всея твари, с некоторым священным ужасом и благоговейною любовью почитает Создателя бесконечную премудрость и силу... Не ясно ли видите, что один почти выше смертных жребия поставлен, другой едва только от бессловесных животных разнится; один ясного познания приятным сиянием увеселяется, другой в мрачной ночи невежества едва бытие свое видит? Толь великую приносит учение пользу, толь светлыми лучами просвещает человеческий разум, толь приятно есть красоты его наслаждение! Желал бы я вас ввести в великолепный храм сего человеческого благополучия; желал бы вам показать в нем подробно, проницанием остроумия и неусыпным рачением премудрых и трудолюбивых мужей изобретенные пресветлые украшения; желал бы удивить вас многообразными их отменами, увеселить восхищающим изрядством и привлечь к ним неоцененною пользою; но к исполнению такового предприятия требуется большее моего разума, большее моего красноречие, большее время потребно, нежели к совершению сего намерения позволяется. Того ради прошу, последуйте за мною мыслями вашими в един токмо внутренний чертог сего великого здания», — ту область «сокровищ богатые натуры», которую изучает химия.

Он указывает примеры тех открытий, которые совершает химия, объясняет необходимость изучения природы, и затем мысль

его обращается к прямым пользам отечества. «Мне кажется, я слышу, что пространная и изобильная Россия к сынам своим вещает: «Простирайте надежду и руки ваши в мое недро, и не мыслите, что искание ваше будет тщетно. Воздают нивы мои многократно труды земледельцев, и тучные поля мои размножают стада ваши и леса и воды мои наполнены животными для пищи вашей; все сие не токмо довольствует мои пределы, но и во внешние страны избыток их проливается; того ради можете ли помыслить, чтобы горы мои драгоценными сокровищами поту лица вашего не наградили. Имеете в краях моих, к теплой Индии и к ледовитому морю лежащих, довольные признаки подземного моего богатства. Для сообщения нужных вещей к сему делу, открываю вам летом далеко протекающие реки, и гладкие снега зимою подстилаю. От сих трудов ваших ожидаю приращения купечества и художеств; ожидаю вящего градов украшения и укрепления, и умножения войска; ожидаю и желаю видеть пространные моря мои покрыты многочисленным и страшным неприятелю флотом, а славу и силу моя держава распростерть за великую пучину в неведомые народы».

В конце «Слова» Ломоносов предостерегает своих слушателей, «дабы кто не подумал, яко бы все человеческой жизни благополучие в одном сем учении состояло, и яко бы я с некоторыми нерассудными любителями одной своей должности с презрением взирал на прочие искусства. Имеет каждая наука равное участие в блаженстве нашем». Человеческий род должен благодарить Всевышнего, который дал ему «к толиким знаниям способность», и особливо Европа, «которая паче всех таковыми его дарами наслаждается, и теми отличается от протчих народов».

«Но коль горячего усердия жертву полагать на олтарь его долженствует Россия, что он в самое тое время, когда науки после мрачности Варварских веков паки воссияли, воздвигнул в ней Премудрого Героя, Великого Петра, истинного Отца отечеству.

Которой удаленную от светлости учения Россию принял мужественною рукою; и окружен со всех сторон внутренними и внешними сопостатами, дарованною себе от Бога крепостию покрывался, разрушил все препятствия, и на пути ясного познания оную поставил.

И по окончании тяжких трудов военных, по укреплении со всех сторон безопасности целого отечества, первое имел о том попечение, чтобы основать, утвердить и размножить в нем науки.

Блаженны те очи, которые божественного сего Мужа на земли видели!

Блаженны и треблаженны те, которые пот и кровь свою с Ним за Него и за отечество проливали, и которых Он за верную службу в главу и в очи целовал помазанными Своими устами».

Вот источник его поклонения Петру.

О Петре он вспоминает и в следующей академической речи, в «Слове о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих» (1753). Это «Слово» написано им после известного события, которое глубоко опечалило его самого и которое в толпе общества возбудило крайнее недоверие к науке, даже прямое осуждение ее — после смерти профессора Рихмана, убитого молнией во время наблюдения явлений грозы. «У древних стихотворцев обычай был, Слушатели,— говорил Ломоносов,— что от призывания богов, или от похвалы между богами вмещенных героев стихи свои начинали, дабы слогу своему приобрести больше красоты и силы; сему я последовать в начинании нынешнего моего слова рассудил за благо. Приступая к предложению материи, которая не токмо сама собою многотрудна, и неисчетными преткновениями превязана; но сверх того скоропостижным поражением трудолюбивого рачений наших Сообщника много прежнего ужаснее казаться может. К очищению онаго мрака, которой, как думаю, смутным сим роком внесен в мысли ваши, большую плодovitость остроумия, тончайшее проницание рассуждения, изобильнейшее богатство слова иметь я должен, нежели вы от меня чаять можете. И так, дабы слову моему приобретена была важность и сила, и взошло бы любезное сияние, к изведению из помрачения прежнего достоинства предлагаемой вещи; употребляю имя Героя, которого едино воспоминание во всех народах и языках внимание и благоговение возбуждает». Воспоминание о Петре должно было заменить античные призывания богов и восхваления героев, чтобы в то же время «известить из помрачения прежнее достоинство» того предмета, о котором он хотел говорить, т. е. электричество. Он вспоминает великие дела Петра для пользы государства, для возрождения отечества, для исправления нравов, а так как всего этого невозможно приобрести «без вспоможения наук», то Петр в особенности покровительствовал наукам. «Того ради не токмо людей всякими науками и художествами знатных превеликими награждениями и ласковым и безопасным в Россию приятием из дальних земель призвал; не токмо во все Европейские государства и города, академиями, гимназиями, военными училищами и художников искусством славные, избранных юношей пчелам подобное множество рассыпал, но и Сам всех общих пример и предводитель, паче обыкновения других государей, не однократно удаляясь из отечества в Германии, Франции, Англии и Голландии, пылая снисканием знаний, странствовал. В оных путешествиях было ли какое ученых людей общество, которое бы Он миновал и не почтил Своим присутствием? Никак! Но Сам в число их вписан быть не отказался. Было ли где великолепное узорочных вещей собрание, или изобильная библиотека, или почтенных художеств произведение, которых бы он не видел, и всего взору Своего достойного не выпросил и не высмотрел?

Был ли тогда человек учения славою знатной, которого бы великий сей гость не посетил, и насладись его ученым разговором, благодеянием не украсил? Коль великие употребил иждивения на приобретение вещей драгоценных, многообразною натуры и художества хитростию произведенных, которые к распространению наук в отечестве удобны быть казались! Какие обещал воздаяния, ежели кто великое что или новое в исследовании натуры либо искусства знание за собою сказывал, или изобрести обещался! Всего сего хотя не мало очевидных свидетелей здесь присутствующих видим; но сверх оных то же свидетельствуют многие махины, неумолимою рукою Августейшего художника устроенные. Свидетельствуют великие корабли, твердые крепости и пристани, которых начертание и строение его начинанием и предводительством скоро и безопасно учинились. Свидетельствуют военные и гражданские училища Его попечением учрежденные. Свидетель есть сия наук Академия, толь многими тысящами книг, толиким множеством естественных и художественных чудес снабденная, и призванием славных во всякого рода учении мужей основанная. Наконец свидетельствуют и самые оные орудия, к произведению разных математических действий удобные, следовавшие Ему во всех Его путешествиях...»

Показавши исторически на примере Петра «пространное употребление наук» в добром управлении государства, Ломоносов объясняет, что «оных людей, которые бедственными трудами, или паче исполинскою смелостию тайны естественные испытать тщатся, не надлежит почитать предерзкими, но мужественными и великодушными, ниже оставлять исследования натуры, хотя они скоропостижным роком живота лишились». Так ученых людей не устрасил Плиний, погребенный в горячем пепле огнедышащего Везувия, и каждый день любопытные очи смотрят в глубокую и яд отрывающую пропасть; он не думает, чтобы устрасила их и смерть Рихмана, и напротив, он уверен, что ученые с должной осторожностью положат все старания к тому, чтобы открыть, «коим образом здоровье человеческое от оных смертоносных ударов могло быть покрыто».

Изложивши затем теорию электричества, он хочет искать способов к избавлению от смертоносных громовых ударов. Здесь перед ним опять было суеверное предубеждение, которое нужно было опровергнуть, и Ломоносов защищает права науки. «Сим предприятием,— говорит он,— не уповаю, Слушатели, чтобы в вас негодование или боязнь некоторая родилась. Ибо вы ведаете, что Бог дал и диким зверям чувство и силу к своему защищению; человеку сверх того прозорливое рассуждение к предвидению и отвращению всего того, что жизнь его вредить может. Не одне молнии из недра преизобилующия натуры на оную устремляются, но и многия иныя:

поветрия, наводнения, трясения земли, бури, которые не меньше нас повреждают, не меньше устрашают. И когда лекарствами от моровой язвы, плотинами от наводнений, крепкими основаниями от трясения земли и от бурь обороняемся, и при том не думаем, якобы мы дерзостным усилованием гневу Божию противились; того ради какую можем мы видеть причину, которая бы нам избавляться от громовых ударов запрещала? Почитают ли тех дерзкими и нечестивыми, которые ради презренного прибытка неизмеримые и бурями свирепствующие моря переежжают, зная, что им то же удобно приключиться может, что прежде их многие, или еще и родители их претерпели? Никоею мерою; но похваляются, и еще сверх того, всенародным молением в покровительство Божие препоручаются. По сему должно ли тех почитать дерзостными и богопротивными, которые для общей безопасности, к прославлению Божия величества и премудрости, величия дел его в натуре молнии и грома следуют? Никак; мне кажется, что они еще особливо его щедротою пользуются, получая пребогатое за труды свои мздовоздаяние, то есть толь великих естественных чудес откровение. Отворено видим его святилище по открытии Электрических действий в воздухе и мановением природы во внутренние входы призываемся. Еще ли стоять будем у порога, и прекословием неосновательного предупреждения удержимся? Никоею мерою; но напротив того сколько нам дано и позволено, далее простираться не престанем, осматривая все, к чему умное* око проникнуть может».

Эта защита науки против суеверов и невежд, считавших ее противною вере, постоянно занимала Ломоносова, и занимала справедливо, потому что предубеждение и вражда распространены были не только в невежественной массе, для которой, например, физическая наука была каким-то покушением открывать вещи, закрытые от людей самим Богом, но и в кругу, который считался образованным: многие действительно с злорадством говорили о смерти Рихмана, как справедливой казни за такое покушение. Ломоносов, без сомнения, нередко слышал вокруг себя подобные враждебные отзывы невежества, которые могли грозить наконец самому существованию науки. Он не оставлял их без отпора, и, как упомянем, один пример шутиливой полемики с его стороны стал даже предметом официального разбирательства и жалобы св. синода. К этому предмету Ломоносов возвратился и в статье «Явление Венеры на солнце» (1761). Описание ученого наблюдения не могло обойтись без объяснения того, что эти наблюдения не представляют ничего богопротивного.

«Сие редко случающееся явление,— говорит Ломоносов,— требует двоякого объяснения. Первым должно отводить от людей,

* Умственное. Том II. Апрель, 1895.

не просвещенных никаким учением, всякие неосновательные сомнения и страхи, кои бывают иногда причиною нарушения общему покою. Не редко легковерием наполненные головы слушают, и с ужасом внимают, что при таковых небесных явлениях пророчествуют бродящие по миру богаделенки, кои не токмо во весь свой долгий век о имени Астрономии не слыхали, да и на небо едва взглянуть могут, ходя сугорбась. Таковых несмысленных прорекательниц и легковерных внимателей скудоумие ни чем как посмеянием презирать должно. А кто от таких пугалищ беспокоится, беспокойство его должно зачитать ему ж в наказание, за собственное его суемыслие. Но сие больше касается до простонародия, которое о науках никакова понятия не имеет. Крестьянин смеется Астроному, как пустому верхогляду. Астроном чувствует внутреннее увеселение, представляя в уме, коль много знанием своим его превышает человека себе подобно сотворенного.

«Второе изъяснение простирается до людей грамотных, до чтецов писания и ревнителей к православию, кое святое дело само собою похвально, естли бы иногда не препятствовало излишеством высоких наук приращению».

Он говорит, что, читая здесь об атмосфере около планеты Венеры, из существования которой можно заключить, что там могут быть такие же явления природы и жизни, как на земле, иной делает вывод: «сие де подобно Коперниковой системе; противно де закону».

«От таковых размышлений,— продолжает Ломоносов,— происходит подобной спор о движении и о стоянии земли. Богословы западные церкви принимают слова Иисуса Навина, глава 10, стих 21, в точном грамматическом разуме, и по тому хотят доказать, что земля стоит».

Указание на западных богословов сделано по-видимому для облегчения полемики, потому что и наши тогдашние, да и позднейшие богословы говорили то же самое. Ломоносов поднимает вопрос по существу и приводит соображения, каких еще не было сделано никогда в русской литературе.

«Но сей спор,— говорит он,— имеет начало свое от идолопоклоннических, а не от христианских учителей. Древние Астрономы, еще за долго до Рождества Христова, Никита Сиракузянец признал дневное земли около своей оси обращение; Филолай годовое около солнца. Сто лет после того Аристарх Самийский показал солнечную систему яснее. Однако Еллинские Жрецы и суеверы тому противились, и правду на много веков погасили. Первой Клеант некто доносил на Аристарха, что он по своей системе о движении земли дерзнул подвинуть с места великую Богиню Весту, всея земли содержательницу; дерзнул беспрестанно вертеть Нептуна, Плутона, Цереру, всех Нимф, Богов лесных и домашних по всей земли. И так

идолопоклонническое суеверие держало Астрономическую землю в своих челюстях, не давая ей двигаться; хотя она сама свое дело и Божие повеление всегда исполняла. Между тем Астрономы принуждены были выдумать для изъяснения небесных явлений глупые и с Механикою и Геометриею прекословящие пути планетам, Циклы и Епициклы (круги и побочные круги)».

«Коперник возобновил наконец солнечную систему, коя имя его ныне носит; показал преславное употребление ее в Астрономии, которое после Кеплер, Невтон и другие верные Математики и Астрономы довели до такой точности, какую ныне видим в предсказании небесных явлений, чего по земностоятельной системе отнюдь достигнуть не возможно».

Он указывает, что если премудрость божиих дел явствуется из размышления о всех тварях, то в особенности указывают на нее физическое учение, а всего больше астрономия: эта премудрость тем очевиднее, чем точнее наблюдения совпадают с нашими предсказаниями.

«Священное писание, — говорит Ломоносов, — не должно везде разуметь Грамматическим, но не редко и Риторским разумом. Пример подает святой Василий Великий, как оно с натурою согласует, и в беседах своих на Шестодневник ясно показывает, каким образом в подобных местах Библейские слова толковать должно». Он приводит подлинные слова Василия Великого и заключает: «Не довольно ли здесь Великий и Святой сей муж показал, что изъяснение священных книг не токмо позволено, да еще и нужно, где ради метафорических выражений с натурою кажется быть не сходственно».

«Правда и вера, — говорит дальше Ломоносов, — суть две сестры родные, дочери одного Всевышнего Родителя, никогда между собою в распрю прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду всклепет. А благоразумные и добрые люди должны рассматривать, нет ли какова способа к объяснению и отвращению мнимого между ними междоусобия, как учинил вышереченный премудрый учитель нашея православныя церкви». Он приводит в подтверждение этому и слова Дамаскина, «глубокомысленного богослова и высокого священного стихотворца», и продолжает:

«Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величество, в другой свою волю. Первая — видимый сей мир, им созданный, чтобы человек смотря на огромность, красоту и стройность его зданий признал Божественное всемогущество, по мере себе дарованного понятия. Вторая книга — священное писание. В ней показано Создательное благословение к нашему спасению. В сих пророческих и апостольских богодухновенных книгах истолкователи и изъяснители суть великие церковные учителя. А в иной

книге сложения видимого мира сего, Физики, Математики, Астрономы и прочие изъяснители божественных в натуру влияющих действий суть таковы, каковы в оной книге Пророки, Апостолы и церковные учителя. Не здраво рассудителен Математик, ежели он хочет Божескую волю вымерять циркулом. Таков же и Богословии учитель, есть ли он думает, что по Псалтыре научиться можно Астрономии или Химии».

Таким образом Ломоносов является ревностным представителем и мужественным защитником современной науки, и эта защита является одной из важнейших его заслуг: он действовал в обществе, почти не слыхавшем об истинной науке, понимавшем ее разве только в наглядных практических приложениях и в сущности ей враждебном, когда открывалось ее самостоятельное значение, как свободного исследования. Быть может, последующие колебания, каким подвергалось у нас дело науки, могли бы быть до значительной степени устранены, если бы у преемников Ломоносова нашлось столько же ревности и мужества к этой защите. Ломоносов признает науку за единое создание человеческой мысли, как результат общего труда образованных народов, и русскую науку ставит в прямую связь и преемство с наукой европейской. Любопытно в этом отношении предисловие, какое он присоединил к переведенной им «Вольфианской экспериментальной физике» (1746), где он указал развитие европейской науки с эпохи Возрождения, после тех средних веков, которые он представлял веками варварства.

«Мы живем в такое время,— говорит Ломоносов,— в которое науки после своего возобновления в Европе возрастают и к совершенству приходят. Варварские веки, в которые купно с общим покоем рода человеческого и науки нарушились и почти совсем уничтожены были, уже прежде двух сот лет окончились. Сии наставляющие нас к благополучию предводительницы, а особливо философия, не меньше от слепого прилепления ко мнениям славного человека, нежели от тогдашних беспокойств претерпели. Все, которые в оной упражнялись, одному Аристотелю последовали, и его мнения за неложные почитали. Я не презираю сего славного и в свое время отменитого от других философа, но тем не без сожаления удивляюсь, которые про смертного человека думали, будто бы он в своих мнениях не имел никакого погрешения, что было главным препятствием к приращению философии и прочих наук, которые от ней много зависят. Чрез сие отнято было благородное рвение, чтобы в науках упражняющиеся один перед другим старались о новых и полезных изобретениях. Славный и первый из новых философов, Картезий, осмелился Аристотелеву философию опровергнуть, и учить по своему мнению и вымыслу. Мы, кроме других его заслуг, особливо за то благодарны, что тем ученых людей ободрил против Аристотеля, против себя самого и против прочих философов в правде спорить, и

тем самым открыл дорогу к вольному философствованию и к вящему наук приращению. На сие взирая, коль много новых изобретений искусные мужи в Европе показали и полезных книг сочинили! Лейбниц, Кларк, Локк, премудрые рода человеческого учителя, предположением правил рассуждения и нравы управляющих, Платона и Сократа превысили. Малцигий, Боил, Герик, Чирнгаузен, Штурм и другие, которые в сей книжице упоминаются, любопытным и рачительным исследованием нечаянные в натуре действия открыли, и тем свет привели в удивление. Едва понятно, коль великое приращение в астрономии, неусыпными наблюдениями и глубокомысленными рассуждениями, Кеплер, Галилей, Гугений, де-ла-Гир и великий Невтон в краткое время учинили... Словом, в новейшие времена науки столько возрасли, что не токмо за тысячу, но и за сто лет жившие едва могли того надеяться. Сие больше от того происходит, что ныне ученые люди, а особливо испытатели натуральных вещей, мало взирают на родившиеся в одной голове вымыслы и пустые речи, но больше утверждают на достоверном искусстве...»

Все эти мысли о достоинстве и необходимости науки, защита ее против неразумия и невежества, в высокой степени важны именно тем, что они в первый раз были сказаны на русском языке. В действительности, и в его время, и долго потом, и даже до нашего времени в русском обществе не обеспечено это достоинство науки и не имеет полноправности то «свободное философствование», которое он считал основанием новейшей науки; но самое понятие, продуманное русским умом и высказанное в литературе, составляет исторический факт высокого значения: этим был ознаменован переход к новому мировоззрению.

Ломоносов был ум первостепенной силы; потому он и мог возыметь эти мысли, вполне отвечавшие тогдашнему состоянию научных взглядов. Биографы спорили о том, насколько он принял или самостоятельно видоизменил общие философские взгляды своего марбургского учителя; для нашего вопроса это довольно безразлично, — важно только то, что Ломоносов знал все основные учения тогдашней натуральной философии; он знал и окружал высоким почтением имена Декарта, Ньютона, Гассенди, Гугения (Гюенса, по Аврамову) и т. д. и стоял на уровне тогдашнего «свободного философствования». Естественно ожидать, что эта высота мысли не будет понята в том состоянии общества, какое было у нас в половине прошлого столетия, и действительно, с одной стороны, мы видим, что хотя в то время высоко ценили Ломоносова по разнообразию его познаний, по ученой славе, признанной и европейскими авторитетами, но это уважение было не сознательным пониманием его труда, а только инстинктивным почтением наивного невежества к мудреному знанию, уважение, похожее на то, каким в средние века

оказывали алхимиков или простой народ — знахарей и колдунов*. С другой стороны, мы видим, что не только в то время, но и долго после в Ломоносове гораздо больше ценили не ученого, полагавшего, как мы видели, основание целого научного мировоззрения, а стихотворца, автора торжественных од, которые были событием в свое время и остались предметом восхищения для потомства, до Мерзлякова включительно.

В самом деле, в свое время оды Ломоносова были событием. Новейшие исследования утверждают, что известный рассказ о необыкновенном впечатлении, какое произвела ода «На взятие Хотина», присланная Ломоносовым из-за границы, был легендой; но, как нередко бывает, легенда, образовавшаяся позднее, отвечала если не факту данного времени, то позднейшему взгляду на писателя. Об «лире» Ломоносова современники имели весьма высокое представление. В сороковых и пятидесятых годах прошлого столетия все действующие писатели были налицо; их было немного, в сущности всего трое. Нечего говорить, что Ломоносов не мог быть сравним с Тредьяковским: Сумароков, сначала бывший в мирных отношениях с Ломоносовым, но под конец страшно с ним враждовавший, признавал, однако, что Ломоносов так далек от Тредьяковского, как «небо от ада»; но Ломоносов несомненно превышал и самого русского Вольтера, и хотя последний также имел, как мы видели, горячих поклонников, и в своих творениях был гораздо разнообразнее Ломоносова и доступнее для толпы, но, в конце концов, Ломоносов вероятно и тогда ставился большинством выше его, и именно в литературном отношении. Это было довольно понятно: ученые сочинения Ломоносова были слишком серьезны и не представляли литературного интереса; этого интереса искали в его одах, и в них при общей риторической высокопарности чувствовалась большая глубина и сила мысли. Позднейшая художественная критика усомнилась в поэтическом даровании Ломоносова и ставила его в ряд стихотворцев-риторов, какими так богат был XVIII век; находила у него не только избыток риторики, но и избыток лести,

* В 1865 г., один почитатель памяти Ломоносова желал собрать на его родине, в селении Матигорах, предания, какие могли сохраниться о нем среди проживавших еще потомков его рода; но местные жители, «к сожалению, не только не сообщили никаких сведений о Ломоносове, но даже не могли себе дать отчета, что он был за человек, чем занимался и чем прославился; знают только то, что он из крестьянина сделался большим баринем. Впрочем, некоторые из присутствовавших заподозрили его в колдовстве; говорили, что он, как и все колдуны, разводил тучи. Однажды, когда над Петербургом нависла грозная туча, императрица Екатерина II приказала Ломоносову отвести эту тучу. Ломоносов долго отказывался, что это-де не по силам его; наконец послушался. Как только стал отводить тучу, разразилась гроза и убила его». *Пекарский*, II, стр. 890, из Архангельских губ. Вед., 1868.

когда он безразлично воспевал и Анну Ивановну, и принцессу Анну, и затем подряд Ивана Антоновича, Елизавету, Петра III и Екатерину; даже с огорчением упрекала его за прямое восхваление рабства*.

Для правильного суждения о поэтическом творчестве Ломоносова, его содержании и манере, необходимо, разумеется, дать себе отчет в свойствах его дарования и не забывать условия времени. Он не был поэтом в обычном смысле этого слова: он не был лириком, который изображает движения личного чувства, он не был поэтом, который представляет в живых образах общество своего времени, у него не было к тому ни влечения, ни достаточной силы фантазии — и литературе нужно было еще много опыта, чтобы достигнуть этой формы творчества; но он несомненно был поэтом в той дидактической манере, которая была так распространена во всей литературе XVIII века, поэт рефлексии и поучения. И в этой области был только известный разряд предметов, которые волновали его поэтическое чувство: это были картины великих явлений природы, великие дела и задачи науки, славные события современной истории отечества и здесь превыше всего деяния Петра Великого, наконец стремления и мечты о славном процветании отечества в будущем. Когда в его одах речь касалась этих любимых тем, у него являлось истинное поэтическое одушевление и оно высказывалось сильным и выразительным языком, которым он несомненно превалировал над Державиным. Не будем приводить примеров, которые достаточно известны даже по хрестоматиям. Нет спора, что здесь нашла большую долю и реторика, но это не была его личная особенность, а общая манера века. По всем условиям времени ода явилась в той форме, которая прежде всего могла найти место в литературе, и как исполнение той служебной роли, какую заняла новая литература со времен Симеона Полоцкого, и как результат подражания иностранным образцам, где она также была сильно распространена, и наконец как форма наиболее доступная младенческому обществу. Крайности были замечаемы уже современниками, и, например, Сумароков в его «вздорных одах» довольно удачно пародировал многие напыщенные обороты Ломоносова; но последний, вероятно, не чувствовал этой крайности: его фантазия требовала образов

* Напр., в надписи для иллюминации в день рождения императрицы Елизаветы:

Пусть мнимая других свобода угнетает,
Нас рабство под твоей державой возвышает.

Об этом последнем Пекарский замечает, однако, что авторство этих стихов может не принадлежать Ломоносову, так как в царствование Елизаветы обыкновенным поставщиком подобных надписей бывал Штелин, и Ломоносов обязывался только перелагать его произведения в русские стихи. История Академии наук, II, стр. 374–375.

грандиозных*. Что касается упрека, что его лира была слишком податлива на восхваления, это опять черта века, которая не может быть отнесена только к его личному вкусу и выбору: во-первых, оды часто прямо заказывались и были исполнением официально-го поручения, а во-вторых, Ломоносов был безусловный патриот, для которого всякая данная власть была предметом почтения, и к ней направлялись его ожидания и надежды для отечества. Мы упоминали, как этот патриотизм приводил его к поступкам не только грубым, но и несправедливым, когда он считал необходимым вступаться за честь и пользу России, которым, по его мнению, наносили ущерб его противники из немецких академиков; он с гордостью указывал им, что он — «природный русский»; во всех своих академических планах он настаивал на том, чтобы содействовать процветанию «Петрова насаждения»; в заметках, которые только в последнее время извлечены из его бумаг, остался след его постоянных размышлений о том, как должны науки содействовать пользам русского государства, и т. д., — понятно, что в оде, где он обращался и к лицам, окружающим престол, и к массе читателей, те же мысли должны были высказываться у него тем с большим жаром и получать иной раз преувеличенное выражение. Его оды ни в каком случае не были пустою лестью; иногда это были или прямые указания на то, что нужно для России, или воспоминания о Петре Великом, в котором он неизменно указывал идеал и образец.

Только изредка он обращался в своих стихотворных произведениях к шутке и эпиграмме. Таков в особенности известный «Гимн бороде», в котором сказалась нетерпеливая вражда к обскурантизму. Шутка попала в цель и Ломоносов вызвал против себя ожесточенные нападения, причем Тредьяковский считал полезным подобных авторов сжигать «в трубах», как это практиковалось некогда в старину, а синод подал на Ломоносова особенную жалобу на высочайшее имя, которая, впрочем, оставлена была без последствий.

Как другие начинатели новой русской литературы, так и Ломоносов считал нужным трудиться в самых разнообразных формах поэзии. Кроме всякого рода опытов риторической лирики, он оставил неоконченный эпос «Петриаду»; по заказу императрицы Елизаветы писал трагедии; наконец хотел быть теоретиком языка и словесности, и историком. В русской историографии он не оставил серьезного труда: от него, как от славного ученого, желали иметь книгу по русской истории, которая нужна была и как цельное изложение, которого не было, и вместе, вероятно, как своего рода панегирику сам Ломоносов, как это очевидно из его полемики против

* Любопытно, что самое слово «высокопарный» (т. е. высокопарящий) в употреблении Ломоносова не имеет своего нынешнего значения, в смысле излишества, а значит только: важный, возвышенный.

Миллера, полагал, что история должна быть изложением славных дел российских государей, служит к возвышению российского народа и должна избегать событий, изложение которых могло бы вести к умалению этой славы. Очевидно, это не было строго критическое отношение к предмету, какое, однако, было и в ту минуту совершенно необходимо, потому что только этим путем возможно было не только установить правильно оценку фактов, но и определить самое свойство источников; Ломоносов и его друзья могли достигнуть только первоначальной популярной цели; впрочем, труд Ломоносова обнимает только древнейшие века русской истории.

Гораздо важнее были его труды по русскому языку, как теоретические — в его работах по грамматике и реторике, так и практические — в языке его собственных произведений. Его филологические сочинения были уже не однажды подробно разбираемы*. Ломоносов еще близко примыкает к своим предшественникам, именно даже к Мелетию Смотрицкому, но он, с одной стороны, знаком с постановкой грамматического вопроса в новых «всеобщих грамматиках», а с другой — живое чувство языка и точные детальные исследования указывают ему много таких сторон книжной и народной речи, которые не были замечаемы его предшественниками. Как вообще ученые предприятия его остались далеко недовершенными, так в особенности надо сожалеть, что не были довершены его работы по языку. Из его бумаг гораздо больше, чем из его напечатанной грамматики, мы видим широту намеченных им планов, которые для своего времени были поистине замечательны. Любопытно в самом деле, что он путем сравнения слов приходит к заключению, что языки русский, греческий, латинский и немецкий «сродственны» между собою; но «в значительную долготу времени» языки изменяются, и чем давнее один язык отделяется от другого, тем разница между ними больше. От славянского корня произошли, по его словам: российский, польский, болгарский, сербский, чешский, словацкий, вендский; и он угадывал деление славянских наречий на две их главные ветви. Вообще он догадывался, что язык развивается по известным законам: «как все вещи от начала в малом количестве начинаются и потом присовокуплениями возрастают, так и слово человеческое, по мере известных человеку понятий, в начале было тесно ограничено и одними простыми предложениями довольствовалося. Но с приращением понятий и само (слово) по мало умножилось», т. е. ему представлялась уже развитая позднее мысль об истории языка. Что касается русского языка, то справедливо замечено было, что ни-

* Так это было сделано еще в книге г. Буслаева «О преподавании отечественного языка». М. 1844; «затем в диссертации Константина Аксакова о Ломоносове. М. 1846; в последнее время состав грамматики Ломоносова был довольно подробно определен в сочинении г. Будиловича.

кто в то время, даже до Карамзина и Пушкина, не владел в такой мере непосредственным знанием русского народного языка, как Ломоносов. В своей академической записке о трудах Шлёцера (1764) Ломоносов противопоставляет ему «природных российских ученых» и, между прочим, одного (т. е. самого себя), «который с малолетства спознал общей российской и славенской языки, а достигши совершенного возраста, с прилежанием прочел почти все, древним славено-моравским языком сочиненные и в церкви употребительные книги. Сверх сего довольно знает все провинциальные диалекты здешней империи, также слова, употребляемые при дворе, между духовенством и между простым народом, разумея притом Польской и другие с российским сродные языки»*. Любопытно, что здесь он указывает различие древнего русского языка от древнего «моравского», на который, по его мнению, было переведено священное писание. Как во всякой начинающейся литературе, в то время шли ожесточенные споры о литературном языке (и в особенности об отношениях церковно-славянского и народно-русского элемента), а также о правописании; мнения нередко путались, так что иногда защитник народного элемента (как Тредьяковский) становился опять его противником, и Сумароков не однажды попрекал Ломоносова в неправильности языка, в который он будто бы вставлял холмогорское наречие, тогда как Сумароков гордился тем, что был москвитянином; тем не менее Ломоносов, без сомнения, гораздо шире всех своих современников понимал состав русского языка и отношения его элементов. Главный материал для русского литературного языка должен был доставить язык народный, который, по мнению Ломоносова, распадался на три главные диалекта: московский, северный или поморский, украинский или малороссийский: «московский диалект главный и при дворе и дворянстве употребительный, а особливо в городах, близ Москвы лежащих... Поморский несколько склонен ближе к старому славянскому и великую часть России занял... Малороссийский больше всех отличен и смешен с польским». Он был знаком со всеми этими диалектами на родине, в Москве и в Киеве. Московское наречие он предпочитал как по важности столичного города, так и по его «отменной красоте», но думал, что в образовании литературного языка должны иметь долю и другие наречия, и должны только подчиняться высшему авторитету языка славянского. Его отношение к церковно-славянскому языку было вполне сознательное; он ценил его, как историческую основу русского языка: на нем создавалась богатая литература по греческим образцам, и в этом отношении он стоял выше русского народного языка, который поэтому мог делать из него заимствования, как из привычного источника. Поэтому славянский язык занял место

* Билярский, стр. 603–604.

в известном распределении трех родов стиля, а именно язык славянский мог служить в особенности для стиля высокого.

Мы говорили в другом месте о значении того переворота, который совершился в русском литературном языке в эпоху реформы, и о том, какое значение имела при этом деятельность Ломоносова*. Не повторяя сказанного, укажем еще высокое представление, какое имел Ломоносов о русском языке. Еще в 1739 году Ломоносов писал: «Я не могу довольно о том нарадоваться, что российский наш язык не токмо бодростию и героическим звоном греческому, латинскому и немецкому не уступает, но и подобную оным, а себе купно природную и свойственную версификацию иметь может». В посвящении «Российской Грамматики» в. кн. Павлу Петровичу Ломоносов писал (1755): «Карл пятый, Римский Император, говаривал, что Ишпанским языком с Богом, Французским с друзьями, Немецким с неприятелями, Италианским с женским полом говорить прилично. Но если бы он Российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно. Ибо нашел бы в нем великолепие Ишпанского, живость Французского, крепость Немецкого, нежность Италианского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость Греческого и Латинского языка. Обстоятельное всего сего доказательство требует другого места и случая. Меня долговременное в Российском слове упражнение о том совершенно уверяет. Сильное красноречие Цицероново, великолепная Виргилиева важность, Овидиево приятное витийство не теряют своего достоинства на Российском языке. Тончайшие философские воображения и рассуждения, многообразные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира, и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи. И ежели чего точно изобразить не можем; не языку нашему, но недовольному своему в нем искусству приписывать должныствуем. Кто отчасти далее в нем углубляется, употребляя предводителем общее философское понятие о человеческом слове, тот увидит безмерно широкое поле, или лучше сказать, едва пределы имеющее море».

Невольно вспоминаются другие восторженные слова, сказанные новейшим тонким мастером русского языка, — слова Тургенева в «Стихотворениях в прозе».



* Ист. русск. этнографии, т. I.